МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. Б. МАРИЕНГОФ



РОМАН БЕЗ ВРАНЬЯ

DirectMEDIA

А. Б. Мариенгоф

Роман без вранья



Москва
Берлин
2020

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2=411.2)6-442.3
М26

Мариенгоф, А. Б.

М26 Роман без вранья / А. Б. Мариенгоф. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 146 с.

ISBN 978-5-4499-0384-6

В издание вошли воспоминания поэта-имажиниста, писателя и драматурга Анатолия Борисовича Мариенгофа (1897–1962 гг.). Книга под названием «Роман без вранья» полностью посвящена Сергею Есенину, с которым автор был особенно близок с 1919 г. Сам Мариенгоф вспоминал об этом времени так: «Мы жили вместе и писали за одним столом…». Литературный критик русской эмиграции Георгий Адамович отмечал, что «…Есть в есенинской истории и материал для раздумий, и предостережения, и урок». Страницы издания – это страницы судьбы талантливого поэта, воссоздающие его живой портрет и сообщающие о малоизвестных фактах его биографии.

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2=411.2)6-442.3

ISBN 978-5-4499-0384-6

Экземпляр для переиздания примерно через четверть века.

20 ноября 1954 г.

Переиздадут быстрей.

А. М. 10 октября 1960. (Надписи на обороте обложки «Романа без вранья»)

1

В Пензе у меня был приятель: чудак-человек. Поразил он меня с первого взгляда бряцающими (как доспехи, как сталь) целлулоидовыми манжетами из-под серой гимназической куртки, пенсне в черной оправе на широком шнуре и длинными поэтическими волосами, свисающими как жирные черные сосульки на блистательный целлулоидовый воротничок.

Тогда я переводился в Пензенскую частную гимназию из Нижегородского дворянского института.

Нравы у нас в институте были строгие – о длинных поэтических волосах и мечтать не приходилось. Не сходишь, бывало, недельку-другую к парикмахеру, и уж ловит тебя в коридоре или на мраморной розовой лестнице инспектор. Смешной был инспектор – чех. Говорил он (произнося мягкое «*л*» как твердое, а твердое мягко) в таких случаях всегда одно и то же:

– Древние греки носилы длынные вольосы дла красоты, скифы – чтобы устрашать своих врагов, а ты дла чего, малчик, носишь длинные вольосы?

Трудно было в нашем институте растить в себе склонность к поэзии и быть баловнем муз.

Увидев Женю Литвинова – целлулоидовые его манжеты и поэтическую шевелюру, сразу я понял, что суждено в Пензенской частной гимназии пышно расцвесть моему стихотворному дару.

У Жени Литвинова тоже была страсть к литературе – замечательная страсть, на свой особый манер. Стихов он не писал, рассказов также, книг читал мало, зато выписывал из Москвы почти все журналы – толстые и тонкие, альманахи и сборнички, поэзию и прозу, питая особую склонность к «Скорпиону», «Мусагету» и прочим такого же сорта самым деликатным и модным тогда в столице издательствам. Все, что получалось из Москвы, расставлялось им по полкам в неразрезанном виде. Я захаживал к нему, брал книги, разрезал, прочитывал – и за это относился он ко мне с большой благодарностью и дружбой.

Жене Литвинову и суждено было познакомить меня с поэтом Сергеем Есениным.

Случилось это летом тысяча девятьсот восемнадцатого года, то есть года через четыре после моего появления в Пензе. Я успел окончить гимназию, побывать на германском фронте и вернуться в Пензу в сортире вагона первого класса. Четверо суток провел бодрствуя на стульчаке и тем возбуждая зависть в товарищах моих по вагону, подобно мне бежавших с поля славы.

Женя Литвинов, увлеченный политикой (так же, как в свое время литературой), выписывал чуть ли не все газеты, выходящие в Москве и Петрограде.

Почти одновременно появились в левоэсеровском «Знамени труда» – «Скифы», «Двенадцать» и есенинские «Преображение» с «Инонией».

У Есенина тогда «лаяли облака», «ревела златозубая высь», богородица ходила с хворостиной, «скликая в рай телят», и, как со своей рязанской коровой, он обращался с богом, предлагая ему «отелиться».

Радуясь его стиху, силе слова и буйствующему крестьянскому разуму, я всячески силился представить себе поэта Сергея Есенина.

И в моем мозгу непременно возникал образ мужика лет под тридцать пять, роста в сажень, с бородой как поднос из красной меди.

Месяца через три я встретился с Есениным в Москве...

Хочется еще разок, напоследок, помянуть Женю Литвинова.

В двадцатом году мельком я увидел его на Кузнецком.

Он только что приехал в Москву и привез с собой из Пензы три дюжины столовых серебряных ложек.

В этих ложках сосредоточился весь остаток его немалого когда-то достояния. Был он купеческий сынок – каменный дом их в два этажа стоял на Сенной площади, и всякого добра в нем вдоволь.

Приехал Женя Литвинов в Москву за славой. На каком поприще должна была прийти к нему слава, он так хорошенько и не знал. Казалось ему (по мне судя и еще по одному своему гимназическому товарищу, Молабуху, разъезжавшему в качестве инспектора Наркомпути в отдельном салон-вагоне), что на пензяков в Москве слава валится прямо с неба.

Ежедневно, ожидая славы, Женя Литвинов продавал одну столовую ложку. Последний раз я встретил его в конце месяца со дня злосчастного приезда в Москву. У него осталось шесть серебряных ложек, а слава все не приходила. Он прожил в столице еще четыре дня. На последние две ложки купил обратный билет в Пензу.

С тех пор я больше его не встречал. Милая моя Пенза! Милые мои пензюки!

2

Первые недели я жил в Москве у своего двоюродного брата Бориса (по-семейному Боб) во 2-м Доме Советов (гост. «Метрополь») и был преисполнен необычайной гордости.

Еще бы: при входе на панели матрос с винтовкой, за столиком в вестибюле выдает пропуска красногвардеец

с браунингом, отбирают пропуска два красноармейца с пулеметными лентами через плечо. Красноармейцы похожи на буров, а гостиница первого разряда на таинственный Трансвааль. Должен сознаться, что я даже был несколько огорчен, когда чай в номер внесло мирное существо в белом кружевном фартучке.

Часов в двенадцать ночи, когда я уже собирался натянуть одеяло на голову, в номер вбежал маленький легкий человек с светлыми глазами, светлыми волосами и бородкой, похожей на уголок холщовой скатерти.

Его глаза так весело прыгали, что я невольно подумал: не играл ли он перед тем, как войти сюда, на дворе в бабки, бил чугункой без промаха, обобрал дочиста своих приятелей и явился с карманами, оттопыренными от козен и медяков, что ставили «под кон»? Одним словом, он мне очень понравился.

Бегая по номеру, легкий человек тот наткнулся на стопку книг. На обложке верхнего экземпляра жирным шрифтом было тиснуто: «ИСХОД» и изображен некто звероподобный (не то на двух, не то на четырех ногах), уносящий голубыми лапищами в призрачную даль бахчисарайскую розу, величиной с кочан красной капусты. В задание художника входило отразить мировую войну, февральскую революцию и октябрьский переворот.

Мой незнакомец открыл книжку и прочел вслух:

Милая,
Нежности ты моей
Побудь сегодня козлом отпущения.

Трехстишие называлось поэмой, и смысл, вложенный в него, должен был превосходить правдивостью и художественной силой все образы любви, созданные мировой литературой до сего времени. Так, по крайней мере, полагал автор.

Каково же было мое возмущение, когда наш незнакомец залился самым непристойнейшим в мире смехом, сразу обнаружив в себе человека, ничего не смыслящего в изящных искусствах.

И в довершение, держась за животики, он воскликнул:

– Это замечательно... Я еще никогда в жизни не читал подобной ерунды!..

Тогда Боб, ткнув пальцем в мою сторону, произнес:

– А вот и автор.

Незнакомец дружески протянул мне руку. Когда минут через десять он вышел из комнаты, унося на память с собой первый имажинистский альманах, появившийся на свет в Пензе, я, дрожа от гнева, спросил Бориса:

– Кто этот...?

– Бухарин! – ответил Боб, намазывая вывезенное мною из Пензы сливочное масло на кусочек черного хлеба.

В тот вечер решилась моя судьба. Через два дня я уже сидел за большим письменным столом ответственного литературного секретаря издательства ВЦИК, что помещалось на углу Тверской и Моховой.

Стоял теплый августовский день. Мой стол в издательстве помещался у окна. По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано:

Мы требуем массового террора.

Меня кто-то легонько тронул за плечо:

– Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?

Передо мной стоял паренек в светлой синей поддевке. Под синей поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, желтые, с золотым отблеском. Большой завиток как

будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции. И только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее – и завитка, и синей поддевочки, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.

– Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин.

3

В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты предков (так называли мы родителей инженера, развешанных по стенам в тяжелых рамах).

Надежд инженера мы не оправдали. На другой же день по переезде стащили со стен засиженных мухами предков, навалили их целую гору и вынесли в кухню.

Бабушка инженера, после такой большевистской операции, заподозрила в нас тайных агентов правительства и стала на целые часы прилипать старческим своим ухом к нашей замочной скважине.

Тогда-то и порешили мы сократить остаток дней ее бренной жизни.

Способ, изобретенный нами, поразил бы своей утонченностью прозорливый ум основателя иезуитского ордена.

Развалившись на плюшевом диванчике, что спинкой примыкал к замочной скважине, равнодушным голосом заводили мы разговор такого, приблизительно, содержания:

– А как ты думаешь, Миша, бабушкины бронзовые канделяберы пуда по два вытянут?

– Разумеется, вытянут.

– А не знаешь ли ты, какого они века?

– Восемнадцатого, говорила бабушка.

– И будто бы работы знаменитейшего итальянского мастера?

– Флорентийца.

– Я так соображаю, что, если их приволочь на Сухаревку, пудов пять пшеничной муки отвалят.

– Отвалят.

– Так вот пусть уж до воскресенья постоят, а там и потащим.

– Потащим.

За стеной в этот момент что-то плюхалось, жалобно стонало и шаркало в безнадежности туфлями.

А в понедельник заново заводили мы разговор о «канделяберах», сокращая ничтожный остаток бренной бабушкиной жизни.

Вскоре раздобыли себе и сообщников на это гнусное дело.

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образа.

Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным.

Наконец было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.

Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивая дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.

У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов; каверзы, которые против него будто бы замышляли; и сплетни, будто бы про него распространяемые.

Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения.

Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.

До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об «изобретательном» образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевали» и «Слова о полку Игореве». У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл заставками, динамические, движущиеся – корабельными, ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке.

Формальная школа для Есенина была необходима. Да и не только для него одного. При нашем бедственном состоянии умов поучиться никогда не мешает.

Один умный писатель на вопрос: «Что такое культура?», рассказал следующий нравоучительный анекдот:

– В Англию приехал богатейший американец. Ездил по стране и ничему не удивлялся. Покупательная возможность доллара делала его скептиком. И только один раз, пораженный необыкновенным газоном в родовом парке английского аристократа, спросил у садовника, как ему добиться у себя на родине такого газона.

– Ничего нет проще, – отвечает садовник, – вспашите, засейте, а когда взойдет, два раза в неделю стригите машинкой

и два раза в день поливайте. Если так станете делать, через триста лет у вас будет такой газон.

Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского.

Не ворчать надо, когда писатель учится форме, а радоваться.

Перед тем как разбрестись по домам, Есенин читал стихи. Оттого ли, что кричал он, ввергая в звон подвески на наших «канделяберах», а себя величал то курицей, снесшейся золотым словесным яйцом, то пророком Сергеем; от слов ли, крепких и грубых, но за стеной, где почивала бабушка, что-то всхлипнуло, простонало и в безнадежности зашаркало шлепанцами по направлению к ватерклозету.

4

Каждый день, часов около двух, приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречок с солеными огурцами. Из тюречка на стол бежали струйки рассола.

В зубах хрустело огуречное зеленое мясо, и сочился соленый сок, расползаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам. Есенин поучал:

– Так, с бухты-барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И тыкал в меня пальцем:

– Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облатками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот смотри – Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому

надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?..

И Есенин весело, по-мальчишески захохотал.

– Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел – скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а он уже тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...» и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, «ахи» свои расточая. Сам же я – скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею как девушка и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой, вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был великий мастер) сказал:

– Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки – за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: «Не надо ли чего покрасить?..» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так-де и так». Явился барин. Зовет в комнаты – Клюев не идет: «Где уж нам в горни-

цу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощеный наслежу». Барин предлагает садиться. Клюев мнется: «Уж мы постоим». Так, стоя перед барином в кухне, стихи и читал...

Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Покраснели веки, будто кто простегнул по их краям алую ниточку:

– Ну а потом таскали меня недели три по салонам – похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочту два-три – в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай... Ух, уж и ненавижу я всех этих Соллогубов с Гиппиусихами!

Опять в синие обернулись его глаза. Хрупнул в зубах огурец. Зеленая капелька рассола упала на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезу, потеплевшим голосом он добавил:

– Из всех петербуржцев только люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого – даром что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавочку за нитками посылала.

5

На Тверской, неподалеку от Газетного, актеры Форегеровского театрика «Московский балаган» соорудили столовку.

Собственно, если говорить не по-сегодняшнему, а на языке и милыми наивными понятиями 19-го года, то назвать следовало бы тот кривобоконький полутемный коридорчик, заставленный трехногими столиками (из допотопной пивнушки, что процветала некогда у Коровьего вала), не пренебрежительно столовкой, а рестораном самого что ни на есть «первого разряда».

До этого прародителя нэповских заведений питались мы с Есениным в одном подвальчике, достойном описания.

Рыжий повар в сиянии торчком торчащих волос (похож на святого со старой новгородской иконы); красного кирпича плита величиной в ампировскую двуспальную кровать; кухонные некрашеные столы, деревянные ложки и... тарелки из дворцовых сервизов с двуглавыми золотыми орлами.

Рыжий повар всякую неудобоваримую дрянь превращает в необыкновеннейшие пловы, бефы и антрекоты.

Фантасмагория неправдоподобнейшая.

Ели и плакали: от чада, дыма и вони.

Есенин сказал:

– Сил моих больше нет. Вся фантасмагория переселилась ко мне в живот.

Тогда решили перекочевать из гофманского подвальчика в столовку форегеровского «Московского балагана».

Ходили туда вплоть до весны, пили коричневую бурдохлыстину на сахарине и ели нежное мясо жеребят.

На Есенине коротенькая меховая кофтенка и высокие, очень смешные черные боты – хлюпает ими и шаркает. В ноги посмотришь – человек почтенного возраста. Ничто так не старит, как наша российская калоша. Влез в калошу – и будто прибавил в весе и характером стал положителен.

В ресторанчике на каждого простого смертного по полдюжине знаменитых писателей.

Разговоры вертятся вокруг стихотворного образа, вокруг имажинизма. В газете «Советская страна» только что появился манифест, подписанный Есениным, Шершеневичем, Рюриком Ивневым, художником Георгием Якуловым и мной.

Австрийский министр иностранных дел Отгокар Чернин передает в своих остроумных мемуарах разговор с Иоффе в Брест-Литовске во время мирных переговоров.

– В случае, если революция в России будет сопровождаться успехом, – (говорил дипломат императора Карла), – то Европа сама не замедлит присоединиться к ее образу мыслей.

Но пока уместен самый большой скептицизм, и поэтому я категорически запрещаю всякое вмешательство во внутренние дела нашей страны.

– Господин Иоффе, – пишет далее Чернин, – посмотрел на меня удивленно своими мягкими глазами, а потом произнес дружественным и почти просящим тоном:

– Я все же надеюсь, что нам удастся устроить и у вас революцию.

Вот и Есенин смотрел мягко и говорил почти умоляюще.

После одной из бесед об имажинизме, когда Пимен Карпов шипел, как серная спичка, зажженная о подошву, а Петр Орешин не пожалел ни «родителей», ни «душу», ни «бога», Есенин, молча отшагав квартал по Тверской, сказал:

– Жизнь у них была дошлая... Петька в гробах спал... Пимен лет десять зависть свою жрал... Ну, и стали как псы, которым хвосты рубят, чтобы за ляжки кусали...

В комнате у нас стоял свежий морозный воздух. Есенин освирепел:

– А талантишка-то на пятачок сопливый... ты попомни, Анатолий, как шавки за мной пойдут... подтявкивать будут...

В ту же зиму прислал Есенину письмо и Николай Клюев.

Письмо сладкоречивое, на патоке и елее. Но в патоке клюевской был яд, не пименовскому чета, и желчь не орешинская.

Есенин читал и перечитывал письмо. К вечеру знал его назубок от буквы до буквы. Желтел, молчал, супил брови и в гармошку собирал кожу на лбу.

Потом дня три писал ответ туго и вдумчиво, как стихотворение. Вытачивал фразу, вертя ее разными сторонами и на всякий манер, словно тифлисский духанщик над огнем деревянные палочки с кусочками молодого барашка. Выволакивал из темных уголков памяти то самое, от чего должен был так же пожелтеть Миколушка, как пожелтел сейчас «Миколушкин сокол ясный».

Есенин собирался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющие и попечительствующие словеса Клюева.

Долго еще, по привычке, критика подливала масла в огонь, величая Есенина «меньшим клюевским братом». А Есенин уже твердо стоял в литературе на своих собственных ногах, говорил своим голосом и носил свою есенинскую «рубашку» (так любил называть он стихотворную форму).

После одной – подобного сорта – рецензии Есенин побежал в типографию рассыпать набор своего старого стихотворения с такими двумя строками:

Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.

Но было уже поздно. Машина выбрасывала последние листы.

6

Еще об есенинском обхождении с человеком. Было у нас, у имажинистов, в годы военного коммунизма свое издательство, книжная лавочка и «Стойло Пегаса».

Из-за всего этого бегали немало по разным учреждениям, по наркомам, в Московский совет.

Об издательстве, лавочке и «Стойле» поподробнее расскажу ниже – как-никак, а связано с ними немало наших дней, мыслей, смеха и огорчений.

А сейчас хочется добавить еще несколько черточек, пятнышек несколько. Не пятнающих, но и не льстивых. Только холодная, чужая рука предпочтет белила и румяна остальным краскам.

Обхождение – слово-то какое хорошее. Есенин всегда любил слово нутром выворачивать наружу, к первоначальному его смыслу.

В многовековом хождении затрепались слова. На одних своими языками вылизали мы прекраснейшие метафориче-

ские фигуры, на других – звуковой образ, на третьих – мысль, тонкую и насмешливую.

Может быть, от настороженного прислушивания к нутру всякого слова и пришел Есенин к тому, что надобно человека обхаживать.

В те годы заведующим Центропечати был чудесный человек, Борис Федорович Малкин. До революции он редактировал в Пензе оппозиционную газетку «Чернозем». Помнится, очень меня обласкал, когда я, будучи гимназистом, притащил к нему тетрадочку своих стихов.

На Центропечати зиждилось все благополучие нашего издательства. Борис Федорович был главным покупателем, оптовым.

Сидим как-то у него в кабинете. Есенин в руках мнет заказ – требовалась на заказе подпись заведующего. А тогда уже были мы Малкину со своими книгами что колики под ребро. Одного слова «имажинист» пугались, а не только что наших книг.

Глядит Малкин на нас нежными и грустными своими глазами (у Бориса Федоровича я не видел других глаз) и, увлекаясь, что-то рассказывает про свои центропечатские дела. Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И наконец, весьма хитро, в совершеннейший придя восторг от административного гения Малкина, восклицает:

– А знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью пожалуют!

От такого есенинского слова (уж очень оно смешное и теплое) и без того добрейший Малкин добреет еще больше.

Глядишь – и подписан заказ на новое полугодие.

Есенин же, сообразив немедля наивное обаяние изобретенной им только что медали, уже припрятал ее в памяти на подходящие случаи жизни. А так как случаев подобных, благодаря многочисленным нашим предприятиям, представлялось немало, то и раздача есенинских медалей шла бойко.

Как-то недельки через четыре после того, выйдя из кабинета Малкина, я сказал сердито Есенину:

– Сделай милость, Сережа, брось ты, пожалуйста, свою медаль. Ведь за какой-то месяц ты Борису Федоровичу третью штуку жалуешь.

Есенин сдвинул бровь:

– Оставь! Оставь! Не учи.

К слову: лицо его очень красили темные брови – напоминали они птицу, разрубленную пополам – в ту и другую сторону по крылу. Когда, сердись, сдвигал брови – срасталась широко разрубленная темная птица...

А когда в Московском совете надобно было нам получить разрешение на книжную лавку, Есенин с Каменевым говорил на олонецко-клюевский манер, округляя «о» и по-мужицки на «ты»:

– Будь милОстив, Отец РоднОй, Лев БОрисОвич, ты уж этО сделай.

7

К отцу, к матери, к сестрам (обретавшимся тогда в селе Константинове Рязанской губернии) относился Есенин с отдышкой от самого живота, как от тяжелой клади.

Денег в деревню посылал мало, скупо, и всегда при этом злясь и ворча. Никогда по своему почину, а только – после настойчивых писем, жалоб и уговоров.

Иногда из деревни приезжал отец. Робко говорил про нужду, про недороды, про плохую картошку, сгнившее сено. Крутил реденькую конопляную бороденку и вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза. Есенин слушал речи отца недоверчиво, напоминал про дождливое лето и жаркие солнечные дни во время сенокоса; о картошке, которая почему-то у всех уродилась, кроме его отца; об урожае Рязанской губернии не ахти плохом. Чем больше вспоминал, тем больше сердился:

– Знать вы там ничего не желаете, а я вам что мошна: сдохну – поплачете о мошне, а не по мне.

Вытаскивал из-под подушки книгу и в сердцах вслух читал о барышнике, которому локомотивом отрезало ногу. Несут того в приемный покой, кровь льет – страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и все беспокоится, как бы в сапоге, на отрезанной ноге, не пропали спрятанные двадцать рублей.

– Все вы там такие...

Отец вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза, щипал на подбородке реденькую размохрявленную рогожку и молчал.

Под конец Есенин давал денег и поскорей выпроваживал старика из Москвы.

После отъезда начинал советоваться, как быть с сестрами – брать в Москву учиться или нет. Склонялся к тому, чтобы сейчас погодить, а может быть, и насовсем оставить в деревне. Пытался в этом добросовестно убедить себя. Выдумывал доводы, в которые сам же не верил. Разводил философию по гамсуновскому «Пану» о счастии на природе и с землей, о том, что мало де радости трепать юбки по панелям и делать аборты.

– Пусть уж лучше хлев чистят да детей рожают.

Сам же бесконечно любил и город, и городскую жизнь, и городскую панель, исшарканную и заплеванную. За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз он выбрался в свое Константиново. Собирался прожить там недельки полторы, а прискакал через три дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, смеясь, как на другой же день поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски.

Сестер же своих не хотел везти в город, чтобы, став «барышнями», они не обобычнили его фигуры. Для цилиндра, смокинга и черной крылатки (о которых тогда уже он

мечтал), каким превосходным контрастом должен был послужить зипун и цветистый ситцевый платок на сестрах, корявая соха отца и материн подойник.

8

В памяти – один пожар в Нижнем. Горели дома по съезду. Съезд крутой. Глядишь – и как это не скувыркнутся домишки. Под глиняной пяткой съезда, в вонючем грязном овраге– Балчуг: ларьки, лавчонки, магазинчики со всякой рухлядью. Большие страсти и копеечная торговля.

Когда вспыхнул съезд, а ветер, вздымая клубами красную пыль, понес ее к Балчугу, огромная черная толпа, глазеющая на пожар, дрогнула. Несколько поодаль стоял человек почти на голову выше ровной черной стены из людей. Серая шляпа, серый светлый костюм с красной искоркой, желтые перчатки и желтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранца. Но глаза, рот и бритые, мягко округляющиеся скулы, были нашими, нижегородскими. Тут уже не проведешь никаким аглицким материалом, никакой искоркой на костюме, никакими перчатками – пусть даже самыми желтыми в мире.

Стоял он, как монумент из серого чугуна. И на пожар- то глядел по-монументовски – сверху вниз. Потом снял шляпу и заложил руки за спину. Смотрю: совсем как чугунный Пушкин на Тверском бульваре.

Вдруг: кто-то шепотом произнес его имя. Оно обежало толпу. И тот, кто соперничал с чугуном, стал соперничать с пламенем.

Люди отворачивались от пожара, заглядывали бесцеремоннейшим образом ему в глаза, тыкали пальцем в его сторону и перешептывались.

Несколькими часами позже я встретил мой монумент на Большой Покровке – главной нижегородской улице. Несколько кварталов прошел я по другой стороне, не спуская с

него глаз. А потом месяца три подряд писал штук по пять стихотворений в сутки, чтобы только приблизить срок прекрасной славы и не лопнуть от нетерпения, ожидая дня, когда и в мою сторону станут тыкать бесцеремонным пальцем.

Прошло много лет.

Держась за руки, мы бежали с Есениным по Кузнецкому Мосту. Вдруг я увидел его. Он стоял около автомобиля. Опять очень хороший костюм, очень мягкая шляпа и какие-то необычайные перчатки. Опять похожий на иностранца... с нижегородскими глазами и бритыми, мягко округляющимися, нашими русапетскими скулами.

Я подумал: «Хорошо, что монументы не старятся!» Так же обгоняющие тыкали в его сторону пальцами, заглядывали под шляпу и шуршали языками:

– Шаляпин.

Я почувствовал, как задрожала от волнения рука Есенина. Расширились зрачки. На желтоватых, матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задыхающимся (от ревности, от зависти, от восторга) голосом:

– Вот так слава!

И тогда, на Кузнецком Мосту, я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной славе Есенин принесет свою жизнь.

Было и такое.

Несколько месяцев спустя мы катались на автомобиле – Есенин, скульптор Сергей Коненков и я. Коненков предложил заехать за молодыми Шаляпиными (Федор Иванович тогда уже был за границей). Есенин обрадовался предложению.

Заехали. Есенин усадил на автомобиле рядом с собой некрасивую веснушчатую девочку. Всю дорогу говорил ей ласковые слова и смотрел нежно.

Вечером (вернулись мы усталые и измученные – часов пять летали по ужасным подмосковным дорогам) Есенин сел ко мне на кровать, обнял за шею и прошептал на ухо:

– Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось: Есенин и Шаляпина... А?.. Жениться, что ли?..

9

Случилось, что весной девятнадцатого года я и Есенин остались без комнаты. Ночевали по приятелям, по приятельницам, в неописуемом номере гостиницы «Европа», в вагоне Молабуха, в люксе у Георгия Устинова – словом, где, на чем и как попало.

Как-то разбрелись на ночь. Есенин поехал к Кусикову на Арбат, а я примостился на диванчике в кабинете правления знаменитого когда-то и единственного в своем роде кафе поэтов.

На Тверской, ниже немного Камергерского, помещалась эта «колыбель славы».

А кормилицей, выняньчившей и выходившей немалую семью скандальных и знаменитых впоследствии поэтов, был толсторожий (ростом с газетный киоск) сибирский шулер и буфетчик Афанасий Степанович Нестеренко.

Когда с эстрады кафе профессор Петр Семенович Коган читал двухчасовые доклады о революционной поэзии, убаюкивая бледнолицых барышень в белых из марли фартучках, вихрастых широкоглазых красноармейцев и грустных их дам с обезлюдевшей к этому часу Тверской; когда соловели даже веселые забористые надписи на стенах кафе и подвешенный к потолку рыжий дырявый сапог Василия Каменского, – тогда сам Афанасий Степанович Нестеренко подходил к нам и, положив свою львиную лапу на плечо, спрашивал;

– Как вы думаете, товарищ поэт, кто у нас сегодня докладчик?

Мы испуганно глядели в глаза красноржему нашему господину и произносили чуть слышно;

– Петр Семенович Коган.

Афанасий Степанович после такого неуместного ответа громыхал:

– Не господин Коган-с, а Афанасий Степанович Нестеренко сегодня докладчик, да-с. Из собственного кармана, извольте почувствовать-с, докладывает.

В такие дни нам не полагалось бесплатного ужина.

Но вернемся же к приключению.

Оставшись ночевать в союзе, я условился с Есениным, что поутру он завернет за мной, а там вместе на подмосковную дачу к одному приятелю.

Солнце разбудило меня раньше. Весна стояла чудесная.

Я протер глаза и протянул руку к стулу за часами. Часов не оказалось. Стал шарить под диваном, под стулом, в изголовье...

– Сперли!

Погрустнел.

Вспомнил, что в бумажнике у меня было денег обедов на пять, на шесть – сумма изрядная.

Забеспокоился. Бумажника тоже не оказалось.

– Вот сволочи!

Захотел встать – исчезли ботинки...

Вздумал натянуть брюки – увы, натягивать было нечего.

Так через промежутки – минуты по три – я обнаруживал одну задругой пропажи: часы... бумажник... ботинки... брюки... пиджак... носки... панталоны... галстук...

Самое смешное было в такой постепенности обнаруживаний, в чередовании изумлений.

Если бы не Есенин, так и сидеть мне до четырех часов дня в чем мать родила в пустом, запертом на тяжелый замок кафе (сообщения наши с миром поддерживались через окошко).

Куда пойдешь без штанов? Кому скажешь?

Через полчаса явился Есенин. Увидя в окне мою растерянную физиономию и услыша грустную повесть, сел он

прямо на панель и стал хохотать до боли в животе, до кашля, до слез.

Потом притащил из «Европы» свою серенькую пиджачную пару. Есенин мне до плеча, есенинские брюки выше щиколоток. И франтоватый же я имел в них вид!

А когда мы сидели в вагоне подмосковного поезда, в окно влетел горящий уголек из паровоза и прожег у меня на есенинских брюках дырку, величиной с двугривенный.

Есенин перестал смеяться и, отсадив меня от окна, прикрыл газетой пиджак свой на мне. Потом стал ругать Антанту, из-за которой приходится черт знает чем топить паровозы; меня за то, что сплю, как чурбан, который можно вынести, а он не услышит; приятеля, уговорившего нас, идиотов, на кой-то черт тащиться к нему на дачу.

А из дырки – вершка на три повыше колена выглядывал розовый кусочек тела.

Я сказал:

– Хорошо, Сережа, что ты не принес мне подштанников, а то бы и их прожег.

10

Сидел я как-то в нашем кафе и будто зачарованный следил за носом Вячеслава Павловича Полонского, который украшал в эту минуту эстраду, напоминая собой розовый флажок на праздничной гирлянде.

Замечательный нос у Вячеслава Павловича Полонского! Нет ему подобного во всей Москве!

Под стеклом на столике в членской комнате «СОПО» хранилась карикатура художника Мака: нарисован был угол дома, из-за угла нос и подпись: «За пять минут до появления Полонского».

Я подумал: «А ведь даже и мейерхольдовский нос короче без малого на полвершка. Несправедливо расточает природа свои дары».

В эту самую минуту я получил толчок под ребро и вышел из оцепенения.

Рядом стоял Есенин. Скосив вниз куда-то глаза, он произнес:

– Познакомься, Толя, мой первейший друг – Моисей.

Потом чуть слышно мне на ухо:

– Меценат.

О меценатах читывал я во французских романах, в собрании старинных анекдотов о жизни и выдумках российских чудаков, слышал от одного обветшалого человека про «Черный лебедь» Рябушинского, про журнал «Золотое руно», издававшийся по его прихоти на необыкновеннейшей бумаге, с прокладочками из тончайшей папиросной, печатавшийся золотым шрифтом и на нескольких языках разом. Хотя для «Золотого руна» было слишком много и одного языка, так как не было у него читателей, кроме самих поэтов, удостоенных золотых букв.

Но чтобы жи-во-го ме-це-на-та, да еще в дни военного коммунизма, да в красной Москве, да вдобавок такого, который на третью минуту нашего знакомства открутил у меня жилетную пуговицу – нет! о таком меценате не приходилось мне грезить ни во сне, ни наяву. Был он пухленький, кругленький и румяненький, как молодая картошка, поджаренная на сливочном масле. На голове нежный цыплячий пух. Их фамилия всяческие имела заводы под Москвой, под Саратовом, под Нижним и во всех этих городах домищи, дома и домики. Ростом же был он так мал, что стоило бы мне подняться слегка на цыпочки, а ему чуть подогнуть коленки, и прошел бы он промеж моих ног, как под триумфальной аркой. Позднее, чтоб не смешить людей, никогда не ходили мы с ним по улице рядом – всегда ставили Есенина посредине.

Еще примечательнее была его речь: шипящие звуки он произносил как свистящие, свистящие как шипящие, горло-

вые как носовые, носовые как горловые; краткие удлинял, долгие укорачивал, а что касается до ударений, то здесь – не было никаких границ его изобретательности и фантазии.

И при всем этом обожал латинских классиков, новейшую поэзию и певца «Фелицы» – Державина.

Сидя спиной на кресле (никогда я не видел, чтобы сидел он тем местом, которое для сиденья предназначено природой), любил говорить:

– Кохроли были не так глупы, когда окхружали себя поэтами... Сехрежа, пхрочти «Бехрезку»...

Устав мотаться без комнаты, мы с Есениным перебрались к нему в квартиру.

После номера в «Европе», инквизиторского дивана в союзе, ночевок у приятелей на составленных и расползающихся под тобою во время сладкого сна стульях, у приятельниц, к которым были холодны сердцем, – мягкие меценатовские волосяные матрацы, простыни тонкого полотна и пуховые одеяла примирили нас со многими иными неудобствами, вытекающими из его нежной к нам дружбы.

Помимо любви к поэзии, он страдал еще от преувеличения своих коммерческих талантов, всерьез считая себя несравненным комбинатором и дельцом самой новейшей формации.

Есенин – искуснейший виртуоз по игре на слабых человеческих струнках – поставил себе твердую цель раздобыть у него денег на имажинистское издательство. Начались уговоры – долгие, настойчивые, соблазнительные; Есенин рисовал перед ним сытинскую славу, память в истории литературы как о новом Смирдине и... трехсотпроцентную прибыль на вложенный капитал.

В результате – в конце второй недели уговариваний – мы получили двенадцать тысяч керенскими.

В тот достопамятный день у нашего «капиталиста» обедал старый человек в золотых очках. Не так давно он еще был

«самым богатым евреем в России». Теперь же не комбинировал, не продавал своих домов, реквизированных советской властью, и не помещал денег в верные дела с 300% прибылью.

«Наш друг», покровительственно похлопывая его по коленке, говорил:

– В отставку вам, Израиль Израильевич! Что же делать, если уже нет коммерческой фантазии...

И тут же рассказал, как вот он – новейшей формации человек – сейчас проделал комбинацию с таким коммерчески безнадежным материалом, как два поэта:

– Почему не заработать двадцать четыре тысячи на двенадцать... Как говорит русская пословица: у пташечки не болит живот, если она даже помаленьку клюет...

Умный старый еврей поблескивал золотыми очками, поглаживал седую бороду и мягко улыбался.

Месяца через три вышла первая книжка нашего издательства.

Мы тогда жили с Есениным в Богословском бахрушинском доме, в собственной комнате.

Неожиданно на пороге появился «меценат».

Есенин встретил его с распростертыми объятиями и поднес совсем свежую, вкусно попахивающую типографской краской книжку с трогательной надписью. Тот поблагодарил, расцеловал авторов и попросил тридцать шесть тысяч.

Есенин обещал через несколько дней лично занести ему на квартиру.

Недельки через три у нас вышел сборничек.

И снова на пороге комнаты мы увидели «мецената».

Ему немедленно вручили вторую книгу с еще более трогательной надписью.

На сей раз он соглашался простить нам двенадцать тысяч и заработать всего каких-нибудь сто процентов.

Есенин крепко пожал ему руку и поблагодарил за широту и великодушие.

Перед рождеством была третья встреча. Он поймал нас на улице. Мы шли зеленые, злые – третьи сутки питались мукой, разведенной в холодной воде и слегка подсахаренной. Клейстер замазывал глотку, ложился комом в желудке, а голод не утолял.

Крепко держа обоих нас за пуговицы, он говорил:

– Ребята, я уже решил – мне не надо ваших прибылей. Возьмите себе ваши двадцать четыре, а я возьму себе свои двенадцать... что?.. по рукам?..

И мы ударили своими холодными ладонями по его теплой.

О последней встрече не хочется и вспоминать...

Стоял теплый мартовский день. Болтая ногами, мы тряслись на ломовой телеге, переправляя из типографии в Центропечать пять тысяч экземпляров новенькой книги.

Вдруг вынырнул он.

Разговор был очень короткий. Есенин, нехотя, слез с книжных кип. Я последовал его примеру. Телега свернула за угол и вместо Центропечати поехала в Камергерский переулок топить стихами его замечательную мраморную ванну.

У меня неприятно щекотало в правой ноздре. Я старался уверить себя, что мне очень хочется чихнуть – было бы малодушно подумать другое. На прощанье круглый человечек с цыплячьим пухом на голове мне напомнил:

– А ведь я, Анатолий, знал твоего папу и маму – они были очень, очень порядочные люди.

Я взглянул на Есенина. Когда телега с нашими книгами скрылась из виду, с его ресниц упала слеза, тяжелая и крупная, как первая дождевая капля.

Вчера я перелистывал Чехова. В очаровательном «Крыжовнике» наткнулся на купца, который перед смертью приказал подать себе тарелку меда и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось.

11

Над Большим театром четыре коня взвились на дыбы. Рвут вожжи и мускулы на своих ногах. И все без толку. Есенин посмотрел вверх:

– А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжельше Большого театра.

И он в третий раз стал перечитывать статейку в журнальчике. Статейка последними словами поносила Есенина. Где полагается, стояла подпись: «Олег Леонидов».

Я взял из рук Есенина журнальчик, свернул его в трубочку и положил в карман.

– О Пушкине и Баратынском тоже писали, что они – прыщи на коже вдовствующей российской литературы...

Есенин ловил ухом и прятал в памяти каждое слово, сказанное о его стихах. Худое и лестное. Ради десяти строк, напечатанных о нем в захудалой какой-нибудь газетенке, мог лететь из одного конца Москвы в другой. Пишущих или говорящих о нем плохо как о поэте считал своими смертельными врагами.

В одном футуристическом журнале в тысячу девятьсот восемнадцатом году некий Георгий Гаер разнес Есенина.

Статья была порядка принципиального: урбанистические начала столкнулись с крестьянскими.

Футуристические позиции тех времен требовали разноса.

Годика через два Есенин ненароком обнаружил под Георгием Гаером – Вадима Шершеневича.

И жестким стал к Шершеневичу, как сухарь. Я отдувался. Извел словесного масла великое множество – пока сухарь пообмяк с верхушки.

А по существу так до конца своих дней и не простил он от полного сердца Шершеневичу его статейки.

Рыча произносил:

– Георгий Гаер.

12

Стояли около «Метрополя» и ели яблоки. На извозчике мимо с чемоданами – художник Дид Ладо.

– Куда, Дид?

– В Петербург.

Бросились к нему через площадь бегом во весь дух.

Налету вскочили.

– Как едешь-то?

– В пульмановском вагоне, братцы, в отдельном купе красного бархата.

– С кем?

– С комиссаром. Страшеннейшим! Пистолетами и кинжалищами увешан, как рождественская елка хлопушками. А башка, братцы, что обритая свекла.

По паспорту Диду было за пятьдесят, по сердцу восемнадцать. Англичане хорошо говорят: костюму столько времени, на сколько он выглядит.

Дид с нами расписывал Страстной монастырь, переименовывал улицы, вешал на шею чугунному Пушкину плакат: «Я с имажинистами».

В СОПО читал доклады по мордографии, карандашом доказывал сходство всех имажинистов с лошадьми: Есенин – Вятка, Шершеневич – Орловский, я – унтер.

Глаз у Дида был верный.

Есенина в домашнем быту так и звали мы – «Вяткой».

– Дид, возьми нас с собой.

– Без шапок-то?..

Летом мы ходили без шапок.

– А на кой они черт!?

Если самому «восемнадцать», то чего возражать?

– Деньжонки-то есть?..

– Не в Америку едем.

– Валяй, садись.

Поехали к Николаевскому вокзалу.

На платформе около своего отдельного пульмановского вагона стоял комиссар.

Глаза у комиссара круглые и холодные, как серебряные рубли. Голова тоже круглая, без единого волоска, ярко-красного цвета.

Я шепнул Диду на ухо:

– Эх, не возьмет нас «свекла»!

А Есенин уже ощупывал его пистолетину, вел разговор о преимуществе кольта над прямодушным наганом, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор.

Один кинорежиссер ставил картину из еврейской жизни. В последней части в сцене погрома должен был на «крупном плане» плакать горькими слезами малыш лет двух. Режиссер нашел очаровательного мальчугана с золотыми кудряшками. Началась съемка. Вспыхнули юпитеры. Почти всегда дети, пугаясь сильного света, шипения, черного глаза аппарата и чужих дядей, начинают плакать. А этому хоть бы что – мордашка веселая и смеется во все горлышко. Пробовали и то и се – малыш ни в какую. У оператора опустились руки. Тогда мать неунывающего малыша научила режиссера:

– Вы, товарищ, скажите ему: «Мойшенька, сними башмачки! » Очень он этого не любит и всегда плачет.

Режиссер сказал и – павильон огласился пронзительным писком. Ручьем полились горькие слезы. Оператор завертел ручку аппарата.

Вот и Есенин, подобно той матери, замечательно знал для каждого секрет «мойшенькиных башмачков»: чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть душу.

Отсюда его огромное обаяние.

Обычно – любят за любовь. Есенин никого не любил, и все любили Есенина.

Конечно, комиссар взял нас в свой вагон, конечно, мы поехали в Петербург, спали на красном бархате и пили кавказское вино хозяина вагона.

В Петербурге весь первый день бегали по издательствам. Во «Всемирной литературе» Есенин познакомил меня с Блоком. Блок понравился своею обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими входящими и исходящими книгами.

В этом много чистоты и большая человеческая правда.

На второй день в Петербурге пошел дождь. Мой пробор блестел, как крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени.

Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам без ордера шляпу.

В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:

– Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.

Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку.

А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, ирисники гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал:

– Документы!

Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами.

13

К осени стали жить в бахрушинском доме. Пустил нас к себе на квартиру Карп Карпович Коротков – поэт, малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата.

Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам.

Выпустил он за короткий срок книг тридцать, книги прославились беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах.

Тем не менее расходились книги Короткова довольно быстро благодаря той неописуемой энергии, с какой раздавал их со своими автографами Карп Карпович!

Один веселый человек пообещал даже 2 фунта малороссийского сала оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича без дарственной надписи. Риск был немалый.

В девятнадцатом году не только ради сала, но и за желтую пшенку кормили собой вшей по неделе и больше в ледяных вагонах.

И все же пришлось веселому человеку самому съесть свое сало.

Комната у нас была большая, хорошая.

14

Силы такой не найти, которая б вытрясла из россиян губительную склонность к искусствам – ни тифозная вошь, ни уездные кисельные грязи по щиколотку, ни бессортирье, ни война, ни революция, ни пустое брюхо, ни протертые на локтях рукавишки.

Можно сказать, тонкие натуры.

Возвращаюсь поздней ночью от приятеля. В небе висит туча вроде дачного железного рукомойника с испорченным краном – льет проклятый дождь без передыха, без роздыха.

Тротуары Тверской черные, лоснящиеся – совсем как мой цилиндр.

Собираюсь свернуть в Козицкий переулок. Вдруг с противоположной стороны слышу:

– Иностранец, стой!

Смутил простаков цилиндр и делосовское широкое пальто.

Человек пять отделилось от стены.

Жду.

– Гражданин иностранец, ваше удостоверение личности!

Ковылял по водомоинам расковыренной мостовой на чалой клячонке извозец. Глянул в нашу сторону – и ну нахлыстывать своего буцефала. А тот, не будь дурак, – стриканул карьером. У кафе «Лира», что на углу Гнездниковского, в рыжем кожухе подремывал сторож. Смотрю – шмыг он в переулочек и – будьте здоровы.

Ни живой души. Ни бездомного пса. Ни тусклого фонаря.

Спрашиваю:

– По какому, товарищи, праву вы требуете у меня документ? Ваш мандат?

– Мандат?..

И парень в студенческой фуражке с лицом бледным и помятым, как невзбитая после ночи подушка, помахал перед моим носом пистолетиной:

– Вот вам, гражданин, и мандат!

– Так, может быть, не удостоверение личности, а пальто!

– Слава тебе, господи... догадался...

И, слегка помогая разоблачаться, парень с помятой физиономией стал сзади меня, как швейцар в хорошей гостинице.

Я пробовал шутить. Но было не очень весело. Пальто только что сшил. Хороший фасон и добротный английский драп.

Помятая физиономия смотрела на меня меланхолически.

И когда с полной безнадежностью я уже вылезал из рукавов, на выручку мне пришла та самая, не имеющая пределов, любовь россиян к искусству.

Один из теплой компании, пристально вглядевшись в мое лицо, спросил:

– А как, гражданин, будет ваша фамилия?

– Мариенгоф...

– Анатолий Мариенгоф?..

Приятно пораженный обширностью своей славы, я повторил с гордостью:

– Анатолий Мариенгоф!

– Автор «Магдалины»?

В этот счастливый и волшебнейший момент моей жизни я не только готов был отдать им делосовское пальто, но и добровольно приложить брюки, лаковые ботинки, шелковые носки и носовой платок.

Пусть дождь! Пусть не совсем принято возвращаться домой в подштанниках! Пусть нарушено равновесие нашего бюджета! Пусть! Тысяча раз пусть! – но зато какая лакомая и обильная жратва для честолюбия – этого прожорливого Фальстафа, которого мы носим в своей душе!

Должен ли я говорить, что ночные знакомцы не тронули моего пальто, что главарь, обнаруживший во мне «Мариенгофа», рассыпался в извинениях, что они любезно проводили меня до дому, что, прощаясь, я крепко жал им руки и приглашал в «Стойло Пегаса» послушать мои новые вещи.

А спустя два дня еще одно подтверждение тонкости расейских натур.

Есенин зашел к сапожнику. Надо было положить новые подметки и каблуки.

Сапожник сказал божескую цену. Есенин, не торгуясь, оставляет адрес, куда доставить: «Богословский, 3, 46 – Есенину».

Сапожник всплескивает руками:

– Есенину!

И в восторженном порыве сбавляет цену наполовину.

А вот из истории – правда, ситуация несколько иная, но тоже весьма примечательная.

1917 год. В Гатчине генерал Краснов, командующий войсками Керенского, заключает бесславное для себя соглашение с большевистскими отрядами.

Входят: адъютант Керенского и Лев Давидович Троцкий. Вслед за ними казачонок с винтовкой. Казачонок уцепился за рукав Троцкого и не выпускает его.

Троцкий обращается к Краснову:

– Генерал, прикажите казаку отстать от нас.

Краснов делает вид, что не знает Троцкого в лицо.

– А вы кто такой?

– Я – Троцкий.

Казачонок вытягивается перед Красновым:

– Ваше превосходительство, я поставлен стеречь господина офицера (адъютанта Керенского), вдруг приходит этот еврейчик и говорит: «Я – Троцкий, идите за мной». Я часовой. Я за ними. Я его не отпущу без разводящего.

– Ах, как глупо! – бросает Троцкий и уходит, хлопнув дверью.

А генерал Краснов обращается к столпившимся офицерам с фразой, достойной бессмертия. Он говорит:

– Какая великолепная сцена для моего будущего романа!

Россияне! Россияне!

Тут безвозвратный закат генеральского солнца. Поражение под Петербургом. Судьбы России. А он, командующий армией (правда, в две роты и девять казачьих сотен, но все же решающей: быть или не быть), толкует о сцене для романа? А? Как вам это понравится?

15

В те дни человек оказался крепче лошади.

Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и если ничего не оставалось больше, как

протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.

Мы с Есениным шли по Мясницкой. Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот.

Против почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.

На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый ирисник в коричневом котелке на белобрысой маленькой головенке швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем.

Вторую тушу глодала собака. Протрусивший мимо на хлябеньких санках извозчик вытянул ее кнутом. Из дыры, над которой некогда был хвост, она вытащила длинную и узкую, как отточенный карандаш, морду. Глаза у пса были недовольные, а белая морда окровавлена до ушей. Словно в красной полумаске. Пес стал вкусно облизываться. Всю обратную дорогу мы прошли молча. Падал снег.

Войдя в свою комнату, не отряхнув, бросили шубы на стулья. В комнате было ниже нуля. Снег на шубах не таял.

Рыжеволосая девушка принесла нам маленькую электрическую грелку. Девушка любила стихи и кого-то из нас.

В неустанном беге за славой и за тормошливостью дней мы так и не удосужились узнать кого. Вспоминая об этом после, оба жалели – у девушки были большие голубые глаза и волосы цвета сентябрьского кленового листа.

Грелка немало принесла радости.

Когда садились за стихи, запирали комнату, дважды повернув ключ в замке, и с видом преступников ставили на стол грелку. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзли чернила и писать можно было без перчаток.

Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов. Он доканчивал книгу «Воплощение» (о нас), а у него в доме Нерензея в комнате тоже мерзли чернила и тоже не таял на калошах снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились вроде сосулек: попробуй согнуть – и сломятся.

Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции.

Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательнее перечли есенинские «Кобыльи корабли» – замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов; о солнце, стынущем, как лужа, которую напрудил мерин; о скачущей по полям стуже и о собаках, сосущих голодным ртом край зари».

Много с тех пор утекло воды. В бахрушинском доме работает центральное отопление, в доме Нерензея – газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут, а Есенин на другой день после смерти догнал славу.

16

Перемытарствовав немалую толику часов в приемной Московского совета, наконец получили мы от Льва Борисовича Каменева разрешение на книжную лавку.

Две писательские лавки уже существовали. В Леонтьевском переулке торговали Осоргин, Борис Зайцев, поэт Владислав Ходасевич, профессор Бердяев и еще кто-то из старого «союза писателей».

Фирма была солидная, хозяева в шевелюрах и с собственным местом на полочке истории российской изящной словесности.

Провинциальные интеллигенты с чеховскими бородками выходили из лавчонки со слезой умиления – точь-в-точь как стародревние салопницы от чудотворной Иверской.

В Камергерском переулке за прилавком стояли Шершеневич и Кусиков.

Шершеневич все делает профессионально – стихи, театр, фельетоны; профессионально играет в теннис, в покер, влюбляется, острит, управляет канцелярией и – говорит (но ка-а-ак говорит).

Торговал он тоже профессионально. Посетителей своего магазина делил на «покупателей» и «покапателей».

А вот содержатель буфета в «Стойле Пегаса» Анатолий Дмитриевич Силин разбивал без всякой иронии посетителей кафе на «несерьезных» и «серьезных». Относя к «несерьезным» всю пишущую, изображающую и представляющую братию (словом, «пустых», на языке шпаны), а сухаревцев, охотнорядцев, смоленскорынцев, отъявленных казнокрадов и не прищученных налетчиков с их веселыми подругами – к «серьезным».

Получив от Каменева разрешение на магазин, стали мы с Есениным рыскать по городу в поисках за помещением и за компаньонами.

В кармане у нас была вошь на аркане. Для открытия книжной лавки кроме нее требовался еще такой пустяк, как деньги и книги.

Помещение на Никитской взяли с бою.

У нас был ордер. У одного старикашки из консерватории (помещение в консерваторском доме) – ключи.

В Муни нас предупредили:

– Раздобудете ключи – магазин ваш, не раздобудете – судом для вас отбирать их не будем... а старикашка, имейте в виду, злостный и с каким-то мандатиком от Анатолия Васильевича.

Принялись дежурить злостного старикашку у дверей магазина. На четвертые сутки, тряся седенькими космами, вставил он ключ в замок.

Тычет меня Есенин в бок:

– Заговаривай со старикашкой.

– Загова-а-а-ривать?..

И глаза у меня полезли на лоб:

– Боюсь вихрастых!.. Да и о чем я с ним буду заговаривать?

– Хоть о грыже у кобеля, растяпа!

Второй толчок под бок был убедительнее первого, и я не замедлил снять шляпу перед седенькими космочками, отбившими у меня только что дар речи и мысли.

– Извините меня, сделайте милость... но видите ли... обязали бы очень, если бы... о Шуберте или, допустим, о Шопене соблаговолили в двух-трех словах...

В круглых стеклах, что вскинули на меня удивленные космочки, я прочел глубокую и сердечную к себе жаль: «такой-де молодой, и скажи-ка, пожалуйста!»

– Извольте понять, еще интересуюсь давно контрапунктом и... и...

Есенин одобрительно и повелительно кивал головой.

– и... бемолями.

Бухнул.

Ключ в замке торчал только то короткое мгновение, в которое космочки сочувственно протянули мне свою руку (помню и обкусанную коротышку ноготь, что голеньким торчал из пуховой, привязанной на тесемочку, как у малых ребятишек, варежки).

Вдруг злостный старикашка пронзительно завизжал, захлопотал по панели резиновым набалдашником палки, ухватил Есенина за полу шубы, в кармане которой мягко позванивал о костяную пуговицу долго мечтаемый ключ.

Есенин сурово отвел от своей полы его руку в беспомощно-ребятишьей варежке, остановил лопотанье набалдашника взглядом председателя ревтрибунала, произносящего «высшую меру», и, вытащив без всякой торопливости из бумажника ордер, ткнул в нос старикашке фиолетовой печатью.

Есенин после уверял, что у злостных космочек никаких не стояло в глазах жемчужинок и никаким носом не думали космочки шмыгать.

А по-моему, все-таки шмыгали.

В тот жестокосердый день можно считать, что спустили мы на воду утлое суденышко нашего благополучия.

За компаньонами дело не стало.

17

В самую суету со спуском «утлого суденышка» нагрянули к нам на Богословский гости.

Из Орла приехала жена Есенина – Зинаида Николаевна Райх. Привезла с собою дочку – надо же было показать отцу.

Танюшке тогда года еще не минуло. А из Пензы заявился друг наш закадычный, Михаил Молабух.

Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Молабух и нас двое – шесть душ в четырех стенах!

А вдобавок – Танюшка, как в старых писали книжках, «живая была живулечка, не сходила с живого стулечка» – с няниных колен к Зинаиде Николаевне, от нее к Молабуху, от того ко мне. Только отцовского «живого стулечка» ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость – все попусту.

Есенин не на шутку сердился и не в шутку же считал все это «кознями Райх».

А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле горошиной слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца.

И рядышком примостилось смешное. Вторым по счету словом молабуховским (не успели еще вытащить из ремней подушки с одеялом, а из мешка мясных и мучных благ) было:

– А знаете ли, Сережа и Толя, почем в Пензе соль?

– Почем?

– Семь тысяч.

– Неужто?!

– Тебе говорю.

Часа через два пошли обедать. В Газетном у Надежды Робертовны Адельгейм имелся магазинчик старинных вещей. В первой комнате стояла трехногая карельская береза, шифоньерка красного дерева и пыльная витрина. Под тусклым стеклом на вытертом бархате: табакерочка, две-три камеи и фарфоровые чашечки семидесятых годов (которая треснута, которая с отбитой ручкой, которая без блюдца). А во второй, задней комнате очаровательная Надежда Робертовна кормила нас обедами. За кофе Молабух спросил:

– А знаете ли, ребята, почем в Пензе соль?

– Почем?

– Девять тысяч.

– Ого!

– Вот тебе и «ого».

Вечером Танюшкина няня соорудила нам самовар. Ставила самовар забором. Теперь – дело прошлое – могу признаться: во дворе нашего дома здоровеннейшие тополя без всякого резона были обнесены изгородью. Мы с Есениным, лежа както в кровати и свернувшись от холода в клубок, порешили:

– Нечего изгороди стоять без толку вокруг тополей! Не такое ныне время.

И начали самовар ставить забором. Если бы не помогли соседи, хватило бы нам забора на всю революцию.

В вечер, о котором повествую, мы пиршествовали пензенской телятиной, московскими эклерами, орловским сахаром и белым хлебом.

Посолив телятину, Молабух раздумчиво задал нам вопрос:

– А вот почем, смекаете, соль в Пензе?

– Ну, а почем?

– Одиннадцать тысяч.

Есенин посмотрел на него смеющимися глазами и как ни в чем не бывало обронил:

– Н-да... за один только сегодняшний день на четыре тысячи подорожала...

И мы залились весельем.

У Молабуха тревожно полезли вверх скулы:

– Как так?

– Очень просто: утром семь, за кофе у Адельгейм девять, а сейчас к одиннадцати подскочила.

И залились заново.

С тех пор стали прозывать Молабуха «Почем-Соль».

Парень он был чудесный, только рассеянности невозможной и памяти скоротечной. Рассказывая об автомобиле, бывшем в его распоряжении на германском фронте, всякий раз называл новую марку и другое имя шофера. За обедом вместо водки по ошибке наливал в рюмку из стоящего рядом графина воду. Залихватски опрокинув рюмку, крякал и с причмоком закусывал селедкой.

Скажешь ему:

– Мишук, чего крякаешь?

– Что?

– Чего, спрашиваю, крякаешь?

– Хороша-а!

– То-то хороша-а... отварная, небось... водичка-то.

Тогда он невообразимо серчал; подолгу отплевывался и с горя вконец напивался до белых риз.

А раз в вагоне – ехали мы из Севастополя в Симферополь – выпил вместо вина залпом полный стакан красных чернил. На последнем глотке расчухал. Напугался до того, что, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег на койку в благостном сосредоточии отдавать Богу душу. Души не отдал, а животом промучился.

18

Нежно обняв за плечи и купая свой голубой глаз в моих зрачках, Есенин спросил:

– Любишь ли ты меня, Анатолий? Друг ты мне взаправдашний или не друг?

– Чего болтаешь!

– А вот чего… не могу я с Зинаидой жить… вот тебе слово, не могу… говорил ей – понимать не хочет… не уйдет, и все… ни за что не уйдет… вбила себе в голову: «Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу»… Скажи ты ей, Толя (уж так прошу, как просить больше нельзя!), что есть у меня другая женщина…

– Что ты, Сережа!..

– Эх, милой, из петли меня вынуть не хочешь… петля мне – ее любовь… Толюк, родной, я пойду похожу… по бульварам, к Москве-реке… а ты скажи – она непременно спросит, – что я у женщины… с весны, мол, путаюсь и влюблен накрепко… а таить того не велел… Дай тебя поцелую…

Зинаида Николаевна на другой день уехала в Орел.

19

В Риме во дворце Поли княгиня Зинаида Волконская устроила для русской колонии литературный вечер. Гоголь по рукописи читал «Ревизора». Народу было много. Но, к ужасу Волконской, после первого действия половина публики покинула зал. Гоголь прочел второй акт и – в зале стало еще просторнее. Та же история повторилась с третьим. Автор мемуаров заключает, что «только обворожающей убедительности княгини удалось задержать небольшой круг самых близких и сплотить их вокруг угрюмого чтеца».

Человеческая тупость бессмертна.

Явились к нам в книжную лавку два студента: шапки из собачьего меха, а из-под шуб синие воротники. Гляжу на но-

сы – юридические. Так и есть: в обращении непринужденность и в словах препротивнейшая легкость.

– Желательно бы повидать поэтов Есенина и Мариенгофа.

У меня сыздетства беспричинная ненависть к студенческой фуражке: «Gaudeamus» ввергало в бешенство. В старших классах гимназии, считая студентов тупее армейского штабс-капитана, мечтал высшее получить за границей.

И разве не справедливо течение судеб русского студенчества, заполнившего в годы войны школы прапорщиков и юнкерские училища и ставшего доподлинными юнкерами и прапорщиками?

В дни Керенского на полях Галиции они подставляли собственный лоб под немецкую пулю ради воодушевления не желающих воевать солдат. (Я нежно люблю анекдот про еврея, который, попав на позиции, спросил первым словом: «А где здесь плен?»)

В октябре за стенами военных училищ отстреливались до последнего патрона и последней пулеметной ленты. А в решительный час пошли в «Ледяной поход», сменив при Корнилове текинцев, с которыми тот бежал из Выховской тюрьмы и которых, в пути через Десну и Новгород-Северск к станицам, генералу приходилось уговаривать следующим образом: «Расстреляйте сначала меня, а потом сдавайтесь большевикам. Я предпочту быть расстрелянным вами...»

Синие воротники рылись в имажинистских изданиях, а мы с Есениным шептались в углу.

– К ним?.. В клуб?.. Вступать?.. Ну их к чертям, не пойду.

– Брось, Анатолий, пойдем... неловко... А потом, все-таки приятно – студенты.

На Бронной, во втором этаже, длинный узкий зал с желтыми стеклами и низким потолком. Человек к человеку – как книга к книге на полке, когда соображаешь: либо втиснешь еще одну, либо не втиснешь. Воротников синих! Воротников!..

– И как это на третий год революции локотков на тужурочках не протерли.

На эстраду вышел Есенин. Улыбнулся, сузил веки и, по своей всегдашней манере, выставил вперед завораживающую руку. Она жила у него одной жизнью со стихом, как некий ритмический маятник с жизнью часового механизма.

Начал:

Дождик мокрыми метлами чистит...

Что-то хихикнуло в конце зала.

Ивняковый помет на лугах...

Перефыркнулось от стены к стене и вновь хихикнуло в глубине.

Плюйся, ветер, охапками листьев…

Как серебряные пятачки, пересыпались смешки по первым рядам и тяжелыми целковыми упали в последних.

Кто-то свистнул.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжелой походкой волы,
Животами листвой храпящими
По коленкам марают...

Слово «стволы» произнести не удалось. Весь этот ящик, набитый синими воротниками и золотыми пуговицами, – орал, вопил, свистел и громыхал ногами об пол.

Есенин по-детски улыбнулся. Недоумевающе обвел вокруг распахнувшимися веками. Несколько секунд постоял молча и, переступив с ноги на ногу, стал отходить за рояль.

Я впервые видел Есенина растерявшимся на эстраде. Видимо, уж очень неожидан был для него такой прием у студентов.

У нас были боевые крещения. На свист Политехнического зала он вкладывал два пальца в рот и отвечал таким пронзительным свистом, от которого смолкала тысячеголовая, беснующаяся орава. Есенин обернул ко мне белое лицо:

– Толя, что это?

– Ничего, Сережа. Студенты.

А когда вышли на Бронную, к нам подбежала девушка. По ее пухленьким щечкам и по розовенькой вздернутой пуговичке, что сидела чуть ниже бровей, текли в три ручья слезы. Красные губошлепочки всхлипывали.

– Я там была… я… я… видела… товарищ Есенин… товарищ Мариенгоф… вы… вы… вы…

Девушке казалось, что прямо с Бронной мы отправимся к Москве-реке искать удобную прорубь.

Есенин взял ее за руки:

– Хорошая, расчудесная девушка, мы идем в кафе… слышите, в кафе… Тверская, восемнадцать… пить кофе и кушать эклеры.

– Правда?

– Правда.

– Честное слово?

– Честное слово…

Эту девушку я увидел на литературной панихиде по Сергее Есенине. Встретившись с ней глазами, припомнил трогательное наше знакомство и рассказал о нем чужому, холодному залу.

Знаешь ли ты, расчудесная девушка, что Есенин ласково прозвал тебя «мордоворотиком», что любили мы тебя и помнили во все годы?

20

– Пропадает малый... Смотреть не могу – пла-а-а-кать хочется. Ведь люблю ж я его, стервеца... понимаешь ты, всеми печенками своими люблю...

– Да кто пропадает, Сережа? О чем говоришь?..

– О Мишуке тебе говорю. «Почем-Соль» наша пропадает... пла-а-а-кать хочется...

И Есенин стал пространно рассуждать о гибели нашего друга. А и вправду, без толку текла его жизнь. Волновался не своим волнением, радовался не своей радостью.

– Дрыхнет, сукин кот, до двенадцати... прохлаждается, пока мы тут стих точим... гонит за нами, без чутья, как барбос за лисой: по типографиям, в лавку книжную, за чужой славой... ведь на же тебе – на Страстном монастыре тоже намалевал: Михаил Молабух...

Есенин сокрушенно вздохнул:

– И ни в какую – разэнтакий – служить не хочет. Звезды своей не понимает. Спрашиваю я его вчера: «Ведь ездил же ты, „Почем-Соль“, в отдельном своем вагоне на мягкой рессоре – значит, может тебе Советская Россия идти на пользу». А он мне: ни бе ни ме... пла-а-а-акать хочется.

И, чтобы спасти «Почем-Соль», Есенин предложил выделить его из нашего кармана.

Суровая была мера.

Больше всего в жизни любил «Почем-Соль» хорошее общество и хорошо покушать. То и другое – во всей Москве – можно было обрести лишь за круглым столом очаровательнейшей Надежды Робертовны Адельгейм.

Как-то с карандашиком в руках, прикинув скромную цену обеда, мы с Есениным порядком распечалились – вышло, что за один присест каждый из нас отправлял в свой желудок по двести пятьдесят экземпляров брошюрки стихов в сорок во-

семь страничек. Даже для взрослого слона это было бы не чересчур мало.

Часть, выделенная на обед «Почем-Соли», равнялась ста экземплярам. Приятное общество Надежды Робертовны было для него безвозвратно потеряно...

В пять, отправляясь обедать, добегали мы вместе до угла Газетного. Тут пути расходились. Каждый раз прощание было трагическим. У нашего друга, словно костяные мячики, прыгали скулы. Глядя с отчаянием на есенинскую калошу, он чуть слышно молил:

– Добавь, Сережа! Уж вот как хочется вместе... последний разок – свиную котлетку у Надежды Робертовны...

– Нет!

– Нет?

– Нет!

Вслед за желтыми мячиками скул у «Почем-Соли» начинали прыгать верхняя губа (красный мячик) и зрачки (черные мячики).

Ах, «Почем-Соль»!

Во время отступления из-под Риги со своим «Банным отрядом» Земского союза он поспал ночь на мокрой земле под навесом телеги. С тех пор прыгают в лице эти мячики, путаются в голове имена шоферов, марки автомобилей, а в непогоду и в ростепель ноют кости.

Милый «Почем-Соль», давай же вместе ненавидеть войну и обожать персонаж из анекдота. Ты знаешь, о чем я говорю. Мы же вместе с тобой задыхались от хохота.

Я не умею рассказывать (у нашего приятеля получалось намного смешнее), но зато я очень живо себе представляю:

– Крутил в аптеке пилюли и продавал клистиры. Война. Привезли под Двинск и посадили в окоп. Сидит, не солоно хлебавши. Бац! – разрыв. Бац! – другой! Бац! – третий. В воронке: мясо, камень, кость, тряпки, кровь и свинец. Вскакивает

и, размахивая руками, орет немцам: «Сумасшедшие, что вы делаете!? Здесь же люди сидят!»

Но тебе, милый «Почем-Соль», не до анекдотов. Тебе хочется плакать, а не смеяться.

Мы, хамы, идем к Надежде Робертовне есть отбивные на косточке, а тебя («тоже друзья!») посылаем из жадности («объешь нас») глотать всякую пакость («у самих, небось, животы болели от той дряни») в подвальчик.

«Почем-Соль» говорит почти беззвучно – губами, глазами, сердцем:

– Сережа, Сереженька, последний разок...

У Есенина расплеснулись руки:

– Н-н-н-е-т.

Тогда зеленая в бекеше спина «Почем-Соли» ныряла в ворота и быстро, быстро бежала к подвальчику, в котором рыжий с нимбом повар разводил фантасмагорию. А мы сворачивали за угол.

– Пусть его... пусть (и Есенин чесал затылок)... пропадет ведь парень... пла-а-а-акать хочется...

За круглым столом очаровательная Надежда Робертовна, как обычно, вела весьма тонкий (для «хозяйки гостиницы») разговор об искусстве, угощала необыкновенными слоеными пирожками и такими свиными отбивными, от которых «Почем-Соль» чувствовал бы себя счастливейшим из смертных.

Я вернул свою тарелку Надежде Робертовне.

Она удивилась:

– Анатолий Борисович, вы больны? Половина котлеты осталась нетронутой (прошу помнить, что дело происходило в 1919 году).

– Нет... ничего...

Жорж Якулов даже оборвал тираду о своих «Скачках», вскинул на меня пушистые ресницы и, сочувственно переведя глаз (похожий на косточку от чернослива, только что вынутую изо рта) с моей тарелки на мой нос, сказал:

– Тебе... гхе, гхе... Анатолий, надо – либо... гхе, гхе... в постель лечь... либо водки выпить...

Есенин потрепал его по плечу:

– Съедим, Жорж, по второй?

– Можно, Сережа... гхе, гхе... можно... вот я и говорю... когда они – сопляки – еще цветочки в вазочках рисовали, Серов, простояв час перед моими «Скачками», гхе, гхе, заявил...

– Я знаю, Жорж.

– Ну, так вот, милый мой, я уж тебе раз пятьдесят... гхе, гхе... говорил и еще... милый мой... милый мой... извольте знать, милостивые государи... гхе, гхе... что все эти французы... гхе, гхе... Пинкассо ваш, Матисс... и режиссеры там разные... гхе... гхе... Таиров – с площадочками своими... гхе, гхе... «Саломеи» всякие с «Фамирами»... гхе, гхе... гениальнейший Мейерхольд, милый мой, – все это мои «Скачки», милый мой... «Скачки», да-с! Весь «Бубновый валет», милый мой...

У меня защемило сердце.

Ах, «Почем-Соль»! Вот в эту трагическую минуту, когда голова твоя, как факел, пылает гневом на нас; когда весь мир для тебя окрашен в черный цвет вероломства, себялюбия и скаредности; когда навек померкло в твоих глазах сияние нежного и прекрасного слова «дружба», обратившегося в сальный огарок, чадящий изменами и хладнодушием, – в эту минуту тот, которого ты называл своим другом, уплетает вторую свиную котлету и ведет столь необыкновенные, столь неожиданные и столь зернистые (как любила говорить одна моя приятельница) разговоры о прекрасном...

Прошло дней десять. Мы с Есениным стояли на платформе Казанского вокзала, серой мешками, мешочниками и грустью. «Почем-Соль» уезжал в Туркестан в отдельном вагоне (на мягкой рессоре) в сопровождении пома и секретаря в шишаке с красной звездой величиной с ладонь, Ивана Поддубного.

Обняв Молабуха и крепко целуя в губы, я сказал:

– Дурында, благодари Сергуна за то, что на рельсу тебя поставил...

Они целовались долго и смачно, сдабривая поцелуй теплым матерным словом и кряком, каким только крякают мясники, опуская топор в кровавую бычью тушу.

21

Тайна электрической грелки была раскрыта. Мы с Есениным несколько дней ходили подавленные. Часами обсуждали, какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следователь с ястребиными глазами, черная стальная решетка. Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали руки, возлюбленные плакали от радости, друзья обнимали, поздравляли с неожиданным исходом. На радостях пили чай из самовара, вскипевшего на Николае угоднике: не было у нас угля, не было лучины – пришлось нащипать старую иконку, что смирнехонько висела в уголке комнаты. Один из всех «Почем-Соль» отказался пить божественный чай. Отодвинув соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушку он очень почитает и что за такой чай годика три тому назад погнали б нас по Владимирке. Есенин в шутливом серьезе продолжал:

Не меня ль по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску...

А зима свирепела с каждой неделей. После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочинений Карпа Карпови-

ча и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.

Ванну мы закрыли матрацем – ложе; умывальник досками – письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.

Тепло от колонки вдохновляло на лирику. Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел мне:

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре,
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.

Действительно: приходилось зубами и тяжелым замком отстаивать открытую нами «ванну обетованную». Вся квартира, с завистью глядя на наше теплое беспечное существование, устраивала собрания и выносила резолюции, требующие: установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное выселение нас, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь.

Мы были неумолимы и твердокаменны.

После Нового года у меня завелась подруга. Есенин смотрел на это дело бранчливо; супил брови, когда исчезал я под вечер. Приходил Кусиков и подливал масла в огонь, намекая на измену в привязанности и дружбе, уверяя, что начинается так всегда – со склонности легкой, а кончается... и напевал своим приятным, маленьким и, будто, сердечным голосом:

Обидно, досадно,
До слез, до мученья...

Есенин хорошо знал Кусикова, знал, что он вроде того чеховского мужика, который, встретив крестьянина, везущего бревно, говорил тому: «А ведь бревно-то из сухостоя, трухлявое»: рыбаку, сидящему с удочкой: «В такую погоду не будет

клевать»; мужиков в засуху уверял, что «дождей не будет до самых морозов», а когда шли дожди, что «теперь все погибнет в поле»...

И все-таки Есенина нервило и дергало кусиковское

Обидно, досадно...

Как-то я не ночевал дома. Вернулся в свою «ванну обетованную» часов в десять утра; Есенин спал. На умывальнике стояла пустая бутылка и стакан. Понюхал – ударило в нос сивухой.

Растолкал Есенина. Он поднял на меня тяжелые, красные веки.

– Что это, Сережа?.. Один водку пил?..

– Да. Пил. И каждый день буду... ежели по ночам шляться станешь... с кем хочешь там хороводься, а чтобы ночевать дома...

Это было его правило: на легкую любовь он был падок, но хоть в четыре или в пять утра, а являлся спать домой.

Мы смеялись:

– Бежит Вятка в свое стойло.

Основное в Есенине: страх одиночества.

А последние дни в «Англетере». Он бежал из своего номера, сидел один в вестибюле до жидкого зимнего рассвета, стучал поздней ночью в дверь устиновской комнаты, умоляя впустить его.

22

Но до конца зимы все-таки крепости своей не отстояли. Пришлось отступить из ванны обратно – в ледяные просторы нашей комнаты.

Стали спать с Есениным вдвоем на одной кровати. Наваливали на себя гору одеял и шуб. По четным дням я, а по нечетным Есенин первым корчился на ледяной простыне, согревая ее дыханием и теплотой тела.

Одна поэтесса просила Есенина помочь устроиться ей на службу. У нее были розовые щеки, круглые бедра и пышные плечи.

Есенин предложил поэтессе жалованье советской машинистки, с тем чтобы она приходила к нам в час ночи, раздевалась, ложилась под одеяло и, согрев постель («пятнадцатиминутная работа!»), вылезала из нее, облекалась в свои одежды и уходила домой.

Дал слово, что во время всей церемонии будем сидеть к ней спинами и носами уткнувшись в рукописи.

Три дня, в точности соблюдая условия, мы ложились в теплую постель.

На четвертый день поэтесса ушла от нас, заявив, что не намерена дольше продолжать своей службы. Когда она говорила, голос ее прерывался, захлебывался от возмущения, а гнев расширил зрачки до такой степени, что глаза из небесно-голубых стали черными, как пуговицы на лаковых ботинках.

Мы недоумевали:

– В чем дело? Наши спины и наши носы свято блюли условия...

– Именно!.. Но я не нанималась греть простыни у святых...

– А!..

Но было уже поздно: перед моим лбом так громыхнула входная дверь, что все шесть винтов английского замка вылезли из своих нор.

23

В есенинском хулиганстве прежде всего повинна критика, а затем читатель и толпа, набивавшая залы литературных вечеров, литературных кафе и клубов.

Еще до всероссийского эпатажа имажинистов, во времена «Инонии» и «Преображения», печать бросила в него этим

словом, потом прицепилась к нему, как к кличке, и стала повторять и вдалбливать с удивительной методичностью.

Критика надоумила Есенина создать свою хулиганскую биографию, пронести себя хулиганом в поэзии и в жизни.

Я помню критическую заметку, послужившую толчком для написания стихотворения «Дождик мокрыми метлами чистит», в котором он, впервые в стихотворной форме, воскликнул:

Плюйся, ветер, охапками листьев,
Я такой же, как ты, хулиган.

Есенин читал эту вещь с огромным успехом. Когда выходил на эстраду, толпа орала:

– «Хулигана».

Тогда совершенно трезво и холодно – умом он решил, что это его дорога, его «рубашка».

Есенин вязал в один веник поэтические свои прутья и прутья быта. Он говорил:

– Такая метла здоровше.

И расчищал ею путь к славе.

Я не знаю, что чаще Есенин претворял: жизнь в стихи или стихи в жизнь.

Маска для него становилась лицом и лицо маской.

Вскоре появилась поэма «Исповедь хулигана», за нею книга того же названия и вслед, через некоторые промежутки, «Москва кабацкая», «Любовь хулигана» и т. д. и т. д. во всевозможных вариациях и на бесчисленное число ладов.

Так Петр сделал Иисуса – Христом.

В окрестностях Кесарии Филипповой Иисус спросил учеников:

– За кого почитают меня люди?

Они заговорили о слухах, распространявшихся в галилейской стране: одни считали его воскресшим Иоанном Крести-

телем, другие Илией, третьи Иеремией или иным из воскресших пророков.

Тогда Иисус задал ученикам вопрос:

– А вы за кого меня почитаете?

Петр ответил:

– Ты Христос.

И Иисус впервые не отверг этого наименования.

Убежденность простодушных учеников, на которых не раз сетовал Иисус за их малую просвещенность, утвердила Иисуса в решении пронести себя как Христа.

Когда Есенин как-то грубо в сердцах оттолкнул прижавшуюся к нему Изидору Дункан, она восторженно воскликнула:

– Ruska lubow!

Есенин, хитро пожевав бровями свои серые глазные яблоки, сразу хорошо понял, в чем была для той лакомостъ его чувства.

Невероятнейшая чепуха, что искусство облагораживает душу.

Сыно- и женоубийца Ирод – правитель Иудеи и ученик по эллинской литературе Николая Дамаскина – одна из самых жестокосердных фигур, которые только знает человечество. Однако архитектурные памятники Библоса, Баритоса, Триполиса, Птолемаиды, Дамаска и даже Афин и Спарты служили свидетелями его любви к красоте. Он украшал языческие храмы скульптурой. Выстроенные при Ироде Аскалонские фонтаны и бани и Антиохийские портики, шедшие вдоль всей главной улицы, – приводили в восхищение. Ему обязан Иерусалим театром и гипподромом. Он вызвал неудовольствие Рима тем, что сделал Иудею спутником императорского солнца.

Ни в одних есенинских стихах не было столько лирического тепла, грусти и боли, как в тех, которые он писал в последние годы, полные черной жутью беспробудности, полного сердечного распада и ожесточенности.

Как-то, не дочитав стихотворения, он схватил со стола тяжелую пивную кружку и опустил ее на голову Ивана Приблудного – своего верного Лепорелло. Повод был настолько мал, что даже не остался в памяти. Обливающегося кровью, с рассеченной головой Приблудного увезли в больницу.

У кого-то вырвалось:

– А вдруг умрет?

Не поморщив носа, Есенин сказал, помнится, что-то вроде того:

– Меньше будет одной собакой!

24

Собственно говоря, зазря выдавали нам дивиденд наши компаньоны по книжной лавке.

Давид Самойлович Айзенштадт – голова, сердце и золотые руки «предприятия» – рассерженно обращался к Есенину:

– Уж лучше, Сергей Александрович, совсем не заниматься с покупателем, чем так заниматься, как вы или Анатолий Борисович...

– Простите, Давид Самойлович, душа взбурлила.

А дело заключалось в следующем: зайдет в лавку человек, спросит:

– Есть у вас Маяковского «Облако в штанах»?

Тогда отходил Есенин шага на два назад, узил в щелочки глаза, обмерял спросившего, как аршином, щелочками своими сначала от головы до ног, потом от уха к уху, и, выдержав презрительнейшую паузу (от которой начинал топтаться на месте приемом таким огорошенный покупатель), отвечал своей жертве ледяным голосом:

– А не прикажете ли, милостивый государь, отпустить вам... Надсона... роскошное имеется у нас издание, в парчовом переплете и с золотым обрезом?

Покупатель обижался:

– Почему ж, товарищ, Надсона?

– А потому, что я так соображаю: одна дрянь!.. От замены этого этим ни прибыли, ни убытку в достоинствах поэтических... переплетец же у господина Надсона несравненно лучше.

Налившись румянцем, как анисовое яблоко, выкатывался покупатель из лавки.

Удовлетворенный Есенин, повернувшись носом к книжным полкам и спиной к прилавку, вытаскивал из ряда поаппетитнее книгу, нежно постукивал двумя пальцами по корешку, ласково, как коня по крутой шее, трепал ладонью по переплету и отворачивал последнюю страницу:

– Триста двадцать.

Долго потом шевелил губой, что-то в уме прикидывая, и, расплывшись наконец в улыбку, объявлял, лучась счастливыми глазами:

– Если, значит, всю мою лирику в одну такую собрать, пожалуй что на триста двадцать потяну.

– Что!

– Ну, на сто шестьдесят.

В цифрах Есенин был на прыжки горазд и легко уступчив. Говоря как-то о своих сердечных победах, махнул:

– А ведь у меня, Анатолий, за всю жизнь женщин тысячи три было.

– Вятка, не бреши.

– Ну, триста.

– Ого!

– Ну, тридцать.

– Вот это дело.

Вторым нашим компаньоном по лавке был Александр Мелентьевич Кожебаткин – человек, карандашом нарисованный остро отточенным и своего цвета.

В декадентские годы работал он в издательстве «Мусагет», потом завел собственную «Альциону», коллекционировал

поэтов пушкинской поры и вразрез всем библиографам мира зачастую читал не только заглавный лист книги и любил не одну лишь старенькую виньеточку, сладковатый вековой запах книжной пыли, дату и сентябрьскую желтизну бумаги, но и самого старого автора.

Мелентьич приходил в лавку, вытаскивал из лысого портфельчика бутылку красного вина и, оставив Досю (Давида Самойловича) разрываться с покупателями, распивал с нами вино в задней комнатке.

После второго стакана цитирует какую-нибудь строку из Пушкина, Дельвига или Баратынского:

– Откуда сие, господа поэты?

Есенин глубокомысленно погружается в догадку:

– Из Кусикова!..

Мелентьич удовлетворен. Остаток вина разлит по стаканам.

Он произносит торжественно:

– Мы лени-и-вы и не любопы-ы-ытны!

Житейская мудрость Кожебаткина была проста:

– Дело не уйдет, а хорошая беседа за бутылкой вина может не повториться.

Еще при существовании лавки стали уходить картины и редкие гравюры со стен квартиры Александра Мелентьевича. Вскоре начали редеть книги на полках.

Случилось, что я не был у него около года. Когда зашел, сердце у меня в груди поджало хвост и заскулило: покойник в доме то же, что пустой книжный шкаф в доме человека, который живет жизнью книги.

Теперь у Кожебаткина дышится легче: описанные судебным исполнителем и проданные с торгов шкафы вынесены из квартиры.

Когда мрачная процессия с гробом короля испанского подходит к каменному Эскуриалу и маршал стучит в ворота, монах спрашивает:

– Кто там?

– Тот, кто был королем Испании, – отвечает голос из похоронного шествия.

Тяжелые ворота открываются перед «говорившим» мертвым телом.

Монах в Эскуриале обязан верить собственному голосу короля. Этикет.

Когда Александру Мелентьевичу звонят из типографии с просьбой немедленно приехать и подписать «к печати» срочное издание, а Жорж Якулов предлагает распить бутылочку, милый романтический «этикет» обязывает Кожебаткина верить своей житейской мудрости, что «не уйдет дело», и свернуть в грузинский кабачок.

А назавтра удвоенный типографский счет за простой машины.

25

В раннюю весну мы перебрались из Богословского в маленькую квартирку Семена Федоровича Быстрова в Георгиевском переулке у Патриарших прудов.

Быстров тоже работал в нашей лавке.

Началось беспечальное житье.

Крохотные комнатушки с низкими потолками, крохотные оконца, крохотная кухонька с огромной русской печью, дешевенькие, словно из деревенского ситца, обои, пузатый комодик, классики в издании «Приложения к „Ниве“» в нивских цветистых переплетах – какая прелесть!

Будто моя Пенза. Будто есенинская Рязань.

Милый и заботливый Семен Федорович, чтобы жить нам как у Христа за пазухой, раздобыл (ах, шутник!) – горняшку.

Красотке в феврале стукнуло 93 года.

– Барышня она, – сообщил нам из осторожности, – предупредить просила...

– Хорошо. Хорошо. Будем, Семен Федорович, к девичью ее стыду без упрека.

– Вот! вот!

Звали мы барышню нашу бабушкой-горняшкой, а она нас: одного – «черным», другого – «белым». Семен Федоровичу на нас жаловалась:

– Опять ноне привел белый...

– Да кого привел, бабушка?

– Тьфу! сказать стыдно.

– Должно, знакомую свою, бабушка.

– Тьфу! Тьфу!.. к одинокому мужчине, бессовестная. Хоть бы меня, барышню, постыдилась.

Или:

– Уважь, батюшка, скажи ты черному, чтобы муку не сыпал.

– Какую муку, бабушка? (Знал, что разговор идет про пудру.)

– Смотреть тошно: муку все на нос сыплет. И пол мне весь мукой испакостил. Метешь! Метешь!

Всякий раз, возвращаясь домой, мы с волнением нажимали пуговку звонка: а вдруг да и некому будет открыть двери – лежит наша бабушка-барышня бездыханным телом.

Глядь, нет, шлепает же ведь кожаной пяткой, кряхтит, ключ поворачивая. И отляжет камешек от сердца до следующего дня.

Как-то здорово нас обчистили. Из передней шубы вынесли и даже из комнаты, в которой спали, костюмы.

Грусть и досада обуяла такая, что прямо страсть. Нешуточное дело было в те годы выправить себе костюм и шубу.

Лежим в кроватях чернее тучи.

Вдруг бабушкино кряхтенье на пороге.

Смотрит она на нас лицом трагическим:

– У меня сало-о-оп украли.

А Есенин в голос ей:

– Слышишь, Толька, из сундука приданое бабушкино выкрали.

И, перевернувшись на животы, уткнувшись носами в подушки, стали кататься мы в непристойнейшем – для таких сугубо злокозненных обстоятельств – смехе.

Хозяйственность Семена Федоровича, наивность квартирки, тишина Георгиевского переулка и романтичность нашей домоуправительницы располагали к работе.

Помногу сидели мы за стихами, принялись оба за теорию имажинизма.

Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой «Буян-Остров» был издан Кожебаткиным к осени.

Работа над теорией завела нас в фантастические дебри филологии.

Доморощенную развели науку – обнажая и обнаруживая диковинные, подчас основные, образные корни и стволы в слове.

Бывало, только продерешь со сна глаза, а Есенин кричит:

– Анатолий, крыса!

Отвечаешь заспанным голосом:

– Грызть.

– А ну, производи от зерна.

– Озеро, зрак.

– А вот тоже хорош образ в корню: рука – ручей, река – речь...

– Крыло – крыльцо...

– Око – окно...

Однажды, хитро прихромнув бровью, спросил:

– Валяй, производи от сора.

И, не дав пораскинуть мозгами, проторжествовал:

– Сортир.

– Эх, Вятка, да ведь sortir-то слово французское...

Очень был обижен на меня за такой оборот дела. Весь вечер дулся.

Казалось нам, что, доказав образный рост языка в его младенчестве, раз навсегда сделаем мы бесспорной нашу теорию.

Поэзия – что деревенское одеяло, сшитое из множества пестроцветных лоскутов.

А мы прицепились к одному и знать больше ничего не желали.

Так один сельский поп прилепился со всем пылом своего разума к йоду. Несокрушимую возымел веру в целительность и всеврачующую его благодать.

Однажды матушка, стирая пыль со шкафчика, сронила большую боржомную бутыль с йодом.

Словно расплавленная медь разлилась по полу.

Батюшка заголосил:

– Ах, господи Иисусе! ах, Господи Иисусе! несчастие-то какое, Господи Иисусе!

И живым манером, скинув порты и задрав рясу, сел пышными своими ягодицами в лужу йода, приговаривая при этом:

– И чтоб добро такое, господи Иисусе, не пропадало!

Матушку тоже приглашал.

– Садись и ты, Марфа Петровна, органами благодать впитывать!

Смех смехом, а правота правотой.

Стою на Окуловой горе в Пушкине. На закорках у меня двухгодовалый пострел мой – Кирилка. Смотрим оба на пламенно-красное заходящее солнце.

Кирилл протягивает ручонку в закат и говорит, сияя:

– Мяять(мяч).

Еще посмотрел и, покачав головенкой, переменил решение:

– Саал (шар).

И наконец, ухватив меня пребольно за нос, очень уверенный в своей догадке, произнес решительно:

– Неть. Неть – тисы (часы).

Каковы образы. Какова наглядность – нам в подтверждение – о словесных формированиях.

26

У Семена Федоровича где-то в Тамбовской губернии были ребятишки. Сообразил он их перевезти в Москву и по этому случаю начал поприсматривать нам другую комнату.

Сказал, что в том же Георгиевском хотели уплотниться князья В.

Семена Федоровича князь предупредил:

– Жидов и большевиков не пущу.

На другой день отправились на осмотр «тихой пристани».

Князю за шестьдесят, княгине под шестьдесят – оба маленькие, седенькие, чистенькие. И комнатка с ними схожая. Сразу она и мне, и Есенину приглянулась. Одно удивило, что всяческих столиков в комнатенке понаставлено штук пятнадцать: круглые, овальные, ломберные, чайные, черного дерева, красного дерева, из березы карельской, из ореха какого-то особого, с перламутровой инкрустацией, с мозаикой деревянной – одним словом, и не перечислить всех сортов.

Есенин скромненько так спросил:

– Нельзя ли столиков пяточек вынести из комнаты?

Князь и княгиня обиделись. Оба сердито замотали головами и затуркали ножками.

Пришлось согласиться на столики. Стали прощаться. Князь, протянув руку, спрашивает:

– Значит, вы будете жить?

А Есенину послышалось вместо «жить» – «жид».

Говорит испуганно:

– Что вы, князь, я не жид... я не жид...

Князь и княгиня переглянулись. Глазки их метнули недоверчивые огоньки.

Сердито захлопнулась за нами дверь.

Утром, за чаем, Семен Федорович передал Князев ответ, гласящий, что «рыжий» (Есенин) беспременно уж жид и

большевик, а насчет «высокого» они тоже не вполне уверены – во всяком случае, в дом свой ни за какие деньги жить не пустят.

Есенин чуть блюдечко от удивления не проглотил.

27

В весеннюю ростепель собрались в Харьков. Всякий столичанин тогда втайне мечтал о белом украинском хлебе, сале, сахаре, о том, чтобы хоть недельку-другую поработало брюхо, как в осень мельница.

Старая моя нянька так говорила о Москве:

– Уж и жизнь! Уж и жизнь! В рот не бери и на двор не ходи.

Весь последний месяц Есенин счастливо играл в карты. К поездке поднасобирались деньги.

Сначала садились за стол оба – я проигрывал, он выигрывал.

На заре вытрясем бумажники: один с деньжищами, другой пустой.

Подсчитаем – все так на так.

Есенин сказал:

– Анатолий, сиди дома. Не игра получается, а одно баловство. Только ночи попусту теряем.

Стал ходить один.

Играл свирепо.

Сорвет ли чей банк, удачно ли промечет – никогда своих денег на столе не держит. По всем растычет карманам: и в брючные, и в жилеточные, и в пиджачные.

Если карта переменится – кармана три вывернет, скажет:

– Я пустой.

Последние его ставки идут на мелок.

Придет домой, растолкает меня и станет из остальных уцелевших карманов на одеяло выпотрашивать хрусткие бумажки...

– Вот, смекай, как играть надо!

Накануне отъезда у нас в Георгиевском Шварц читал свое «Евангелие от Иуды».

Шварц – любопытнейший человек. Больших знаний, тонкой культуры, своеобразной мысли. Блестящий приват-доцент Московского университета с вдохновенным цинизмом проповедовал апологию мещанства. В герани, канарейке и граммофоне видел счастливую будущность человечества.

Когда вкусовые потребности одних возрастут до понимания необходимости розовенького цветочка на своем подоконнике, а изощренность других опростится до щелканья желтой птички, наступит золотой век.

На эстраде всегда Шварц был увлекателен, едок и остро-словен.

Как несправедливо, что маленькая черная фигурка, с абсолютной круглой бледной головой и постоянным в глазу моноклем на широком шнуре, ушла, не оставив после себя следа.

Походил он на палку черного дерева с шаром из слоновой кости вместо ручки.

Шварц двенадцать лет писал «Евангелие от Иуды».

Впервые его прочесть решил у нас – тогда самых молодых, самых «левых», самых бесцеремонных к литературным богам и божкам.

Объяснял:

– Мне нос важен. Чтобы разнюхали: с тухлятинкой или без тухлятинки. А на сей предмет у этих носы самые подходящие.

На чтение позвали мы Кожебаткина и еще двух-трех наших друзей.

«Евангелие» Шварцу не удалось.

Видимо, он ожидал, что три его печатных листика, на которых положено было двенадцать лет работы, поразят по крайней мере громом «Войны и мира».

Шварц кончил читать и в необычайном волнении выплюнул из глаза монокль.

Есенин дружески положил ему руку на колено:

– А знаете, Шварц, ерунда-а-а!.. Такой вы смелый человек, а перед Иисусом словно институтка с книксочками и приседаньицами. Помните, как у апостола сказано: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам»? Вот бы и валяли. Образ-то какой можно было закатить. А то развел патоку... да еще «от Иуды».

И, безнадежно махнув рукой, Есенин нежно заулыбался.

Этой же ночью Шварц отравился.

Узнали мы о его смерти утром.

В Харьков отходил поезд в четыре. Хотелось бежать из Москвы, заткнув кулаками уши и придушив мозг.

На вокзале нас ждали. В теплушке весело потрескивала железная печка. В соседнем вагоне ехали красноармейцы.

Еще с Москвы стали они горланить песни и балагурить. Один, голубоглазый, с добрыми широкими скулами, ноздрями, расставленными как рогатка, и мягким пухлым ртом, чудесно играл на гармошке.

На какой-то станции я замешкался с кипятком. Поезд тронулся. На ходу вскочил в вагон к красноармейцам.

Не доезжая Тулы, поезд крепко пошел. Вдали по насыпи бежала большая белая собака, весело виляя хвостом.

Голубоглазый отложил гармонь и, вскинув винтовку, неожиданно выстрелил.

Собака, только что весело вилявшая хвостом, ткнулась носом в землю, мелькнула в воздухе белыми лапами и свалилась с насыпи в ров.

Довольный выстрелом, красноармеец повернул ко мне свое мягкое, широкоскулое лицо с пухлым ртом, расползшимся в добродушную улыбку:

– Во как ее...

И еще одна подобная же улыбка как заноза застряла у меня в памяти.

Во дворе у нас жил водопроводчик. Жена его умерла от тифа. Остался на руках неудачливый (вроде как бы юродивенький) мальчонка лет пяти.

Водопроводчик все ходил по разным учреждениям, по детским домам пристраивать мальчика.

Я при встречах интересовался:

– Ну как, пристроили Володюху?

– Обещали, Анатолий Борисович, в ближайшем будущем.

В следующий раз сообщал:

– Просили наведаться через недельку.

Или:

– Сказали, чтоб маненько повременил.

И все в том же духе.

Случилось, что встретил я водопроводчика с другим ответом:

– Пристроил, Анатолий Борисович, пристроил моего Володюху.

И с тою же улыбкой мне в ласковости своей хорошо знакомой – рассказал, каким образом пристроил: взял на Ярославском вокзале билет, сел с Володюхой в поезд, а в Сергиеве, когда мальчонка заснул, тихонько вышел из вагона и сел в поезд, идущий в Москву. А Володюха поехал дальше.

28

Идем по Харькову – Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджачках.

В руках у Есенина записочка с адресом Льва Осиповича Повицкого – большого его приятеля.

В восемнадцатом году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе. Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время.

Часто потом вспоминали они об этом гощенье, и всегда радостно.

А Повицкому Есенин писал дурашливые письма с такими стихами Крученыха:

Утомилась, долго бегая,
Моя вороха пеленок,
Слышит, кто-то, как цыпленок,
Тонко, жалобно пищит:
Пить, пить.
Прислонивши локоток,
Видит: в небе без порток
Скачет, пляшет мил дружок.

У Повицкого рассчитывали найти в Харькове кровать и угол.

Спрашиваем у встречных:

– Как пройти?

Чистильщик сапог кому-то на хромовом носке ботинка наяривает полоской бархата сногсшибательный глянец.

– Пойду, Анатолий, узнаю у щеголя дорогу.

– Поди.

– Скажите, пожалуйста, товарищ...

Товарищ на голос оборачивается и, оставив чистильщика с повисшей недоуменно в воздухе полоской бархата, бросается с раскрытыми объятиями к Есенину:

– Сережа!

– А мы тебя, разэнтакий, ищем. Познакомьтесь: Мариенгоф – Повицкий.

Повицкий подхватил нас под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Сам он тоже у кого-то ютился.

Миновали уличку, скосили два-три переулка.

– Ну, ты, Лев Осипович, ступай вперед и вопроси. Обрадуются – кличь нас, а если не очень, повернем оглобли.

Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло с писком и визгом штук шесть девиц.

Повицкий был доволен.

– Что я говорил? А?

Из огромной столовой вытащили обеденный стол и, вместо него, двухспальный волосяной матрац поставили на пол.

Было похоже, что знают они нас каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена.

Есть же ведь на свете теплые люди!

От Москвы до Харькова ехали суток восемь; по ночам в очередь топили печь; когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтобы было помягче.

Девицы стали укладывать нас «почивать» в девятом часу, а мы и для приличия не попротивились. Словно в подкованный тяжелый солдатский сапог усталость обула веки.

Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем (ни разу за ночь не повернувшись) – в первом часу дня.

Все шесть девиц ходили на цыпочках.

В темный занавес горячей ладонью уперлось весеннее солнце.

Есенин лежал ко мне затылком. Я стал мохрявить его волосы.

– Чего роешься?

– Эх, Вятка, плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пятачок.

– Что ты?..

И стал ловить серебряный пятачок двумя зеркалами, одно наводя на другое.

Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах – выдумывали январский иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.

Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.

Сердцу, как и языку, приятна нежная, хрупкая горечь.

Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение.

Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

29

В Харькове жил Велемир Хлебников. Решили его проведать.

Очень большая квадратная комната. В углу железная кровать без матраца и тюфячка, в другом углу табурет. На табурете обгрызки кожи, дратва, старая оторванная подметка, сапожная игла и шило.

Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых, без шляпок, гвоздиках. На правой руке у него щиблета.

Он встал нам навстречу и протянул руку с щиблетой.

Я, улыбаясь, пожал старую дырявую подошву. Хлебников даже не заметил.

Есенин спросил:

– Это что у вас, Велемир Викторович, сапог вместо перчатки?

Хлебников сконфузился и покраснел ушами – узкими, длинными, похожими на спущенные рога.

– Вот... сам сапоги тачаю... садитесь...

Сели на кровать.

– Вот...

И он обвел большими, серыми и чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, глазами пустынный квадрат, оклеенный желтыми выцветшими обоями.

– ...комната вот... прекрасная... только не люблю вот... мебели много... лишняя она... мешает.

Я подумал, что Хлебников шутит.

А он говорил строго, тормоша волосы, низко, под машинку остриженные после тифа.

Голова у Хлебникова как стакан простого стекла, просвечивающий зеленым.

– ...и спать бы... вот можно на полу... а табурет нужен... заместо стола я на подоконнике... пишу... керосина у меня нет... вот и учусь в темноте... писать... всю ночь сегодня... поэму...

И показал лист бумаги, исчерченный каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплетшимися.

Невозможно было прочесть ни одного слова.

– Вы что же, разбираете это?

– Нет... думал вот, строк сто написал... а когда вот рассвело... вот и...

Глаза стали горькими:

– Поэму... жаль вот... ну, ничего... я, знаете, вот научусь в темноте... непременно в темноте...

На Хлебникове длинный черный сюртук с шелковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками.

Подкладка пальто служит тюфяком и простыней одновременно.

Хлебников смотрит на мою голову – разделенную ровным, блестящим, как перламутр, пробором и выутюженную жесткой щеткой.

– Мариенгоф, мне нравится вот, знаете, ваша прическа... я вот тоже такую себе сделаю...

Есенин говорит:

– Велемир Викторович, вы ведь Председатель Земного шара. Мы хотим в Городском харьковском театре всенародно и торжественным церемониалом упрочить ваше избрание.

Хлебников благодарно жмет нам руки.

Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал.

Хлебников, в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты, посвящающие его в Председатели.

После каждого четверостишия, произносит:

– Верую.

Говорит «верую» так тихо, что еле слышим мы. Есенин толкает его в бок:

– Велемир, говорите громче. Публика ни черта не слышит.

Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая: «Но при чем же здесь публика?» И еще тише, одним движением рта, повторяет:

– Верую.

В заключение как символ Земного шара надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера – Бориса Глубоковского. Опускается занавес.

Глубоковский подходит к Хлебникову:

– Велемир, снимай кольцо.

Хлебников смотрит на него испуганно за спину.

Глубоковский сердится:

– Брось дурака ломать, отдавай кольцо!

Есенин надрывается от смеха. У Хлебникова белеют губы:

– Это… это… Шар… символ Земного шара… А я – вот… меня… Есенин и Мариенгоф в Председатели…

Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель Земного шара, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет светлыми и большими, как у лошади, слезами.

Перед отъездом в Москву отпечатали мы в Харькове сборничек «Харчевня зорь». Есенин поместил в нем «Кобыльи корабли», я «Встречу», Хлебников – поэму и небольшое стихотворение:

Голгофа
Мариенгофа.
Город
Распорот.
Воскресение
Есенина.
Господи, отелись,
В шубе из лис.

30

В пасхальную ночь на харьковском бульваре, вымощенном человеческой толпой, читали стихи.

Есенин своего «Пантократора».

В колокольный звон вклинивал высоким, рассекающим уши голосом:

Не молиться тебе, а лаяться
Научил ты меня, Господь.

Толпа в шлемах, кепках и картузах, подобно огромной черной ручище, сжималась в кулак.

А слова падали, как медные пятаки, на асфальт.

И за эти седины кудрявые,
За копейки с златых осин,
Я кричу тебе: «К черту старое»,
Непокорный разбойный сын.

Когда Есенин кончил, шлемы, кепки и картузы подняли его на руки и стали бросать вверх. В пасхальную ночь. В колокольный звон.

Хорошая проверка для стихов. А у Гоголя была еще лучше.

Старый большевик Михаил Яковлевич Вайнштейн рассказал мне следующий случай.

В Петропавловской крепости его соседом по камере был максималист. Над максималистом шли последние дни суда, и тюрьма ожидала смертного приговора. Воздух становился твердым, словно камень, а мысли в голове ворочались тупо и тяжело, как жирные свиньи.

И вдруг: из соседней комнаты, от максималиста, через толстую петропавловскую стену – широкий, раскатистый во всю грудь – смех. Такой, что идет от пупа.

Смех перед виселицей пострашнее рыданий.

Вайнштейн поднял тревогу: казалось, безумие опередило смерть.

Пришел надзиратель, заглянул в камеру к максималисту, развел руками, недоуменно покачал головой и сообщил:

– Читает.

Тогда Вайнштейн стуками оторвал соседа от книги и спросил:

– В чем дело?

Сосед ответил:

– Читаю Гоголя. «Ночь под Рождество». Про кузнеца Вакулу. Сил моих нет, до чего смешно...

31

Из всей литературы наименее по душе была нам – литература военного комиссариата.

Сначала читали внимательно и точно все мобилизационные приказы. Читали и расстраивались. Чувствовали непрочность наших освободительных бумажек. Впоследствии нашли способ более душеспокойный – не читать ни одного. Только быстрее пробегали мимо свежерасклеенных.

Зажмурили глаза, а вести стали ползти через уши. С перепугу Есенин побежал к комиссару цирков – Нине Сергеевне Рукавишниковой.

Циркачи были освобождены от обязанности и чести с винтовкой в руках защищать республику.

Рукавишникова предложила Есенину выезжать верхом на коне на арену и читать какую-то стихотворную ерунду, сопровождающую пантомиму.

Три дня Есенин гарцевал на коне, а я с приятельницами из ложи бенуара встречал и провожал его громовыми овациями.

Четвертое выступление было менее удачным.

У цирковой клячи защекотало в ноздре, и она так мотнула головой, что Есенин, попривыкнувший к ее спокойному нраву, от неожиданности вылетел из седла и, описав в воздухе головокружительное сальто-мортале, растянулся на земле.

– Уж лучше сложу голову в честном бою, – сказал он Нине Сергеевне.

С обоюдного согласия полугодовой контракт был разорван.

Днем позже приехал из Туркестана «Почем-Соль». Вечером распили бутылку кишмишевки у одного из друзей. Разошлись поздней ночью.

На улице догорланивали о «странностях любви».

Есенин вывез из Харькова нежное чувство к восемнадцатилетней девушке с библейскими глазами.

Девушка любила поэзию. На выпряженной таратайке, стоящей среди маленького круглого двора, просиживали они от раннего вечера до зари. Девушка глядела на луну, а Есенин в ее библейские глаза.

Толковали о преимуществах неполной рифмы перед точкой, о неприличии пользоваться глагольной, о барабанности составной и приятности усеченной.

Есенину невозможно нравилось, что девушка с библейскими глазами вместо «рифмы» – произносила «рыфма».

Он стал даже ласково называть ее:

– Рыфмочка.

Горланя на всю улицу, Есенин требовал от меня подтверждения перед «Почем-Солью» сходства Рыфмочки с возлюбленной царя Соломона, прекрасной и неповторимой Суламифью.

Я, зля его, говорил, что Рыфмочка прекрасна, как всякая еврейская девушка, только что окончившая в Виннице гимназию и собирающаяся на зубоврачебные курсы в Харьков.

Он восхвалял ее библейские глаза, а я – будущее ее искусство долбить зубы бормашиной.

В самом разгаре спора неожиданно раздался пронзительный свисток, и на освещенном углу появились фигуры милиционеров.

Из груди Есенина вырвалось как придыхание:

– Облава!

Только вчера он вернул Рукавишниковой спасительное цирковое удостоверение.

Раздумывать долго не приходилось.

– Бежим?

– Бежим!

Пятки засверкали. Позади дребезжали свистки и плюхались тяжелые сапоги.

«Почем-Соль» сделал вслед за нами прыжков двадцать. У него заломило в спине, в колене, слетела с головы шапка, а из раскрывшегося портфеля, как из голубятни, вылетели бумаги.

Схватившись за голову, он сел на мостовую.

Срезая угол, мы видели, как пленили его и повели милиционеры.

А между нами и погоней расстояние неизменно росло.

У Гранатного переулка Есенин нырнул в чужие ворота, а я побежал дальше. Редкие ночные прохожие шарахались в стороны.

Есенин после рассказывал, как милиционеры обыскивали двор, в котором он притаился, как он слышал приказ стрелять, если обнаружат, и как он вставил палец меж десен, чтобы не стучали зубы.

С час просидели мы на кроватях, дожидаясь «Почем-Соли».

А он явился только в десятом часу утра. Бедняга провел ночь в милиции. Не помогли и мандаты с грозными подписями и печатями.

Ругал нас последними словами:

– Чего, олухи, побежали?.. Вшей из-за вас, чертей, понабрался. Ночь не спал. Проститутку пьяную в чувство приводил. Бумажник уперли...

– А мы ничего себе – спали... на мягкой постели...

– Вот тебе, «Почем-Соль», и мандат... и еще грозишь: «имею право ареста до тридцати суток», а самого в каталажку... пфф...

– Вовсе не «пфф»... А спрашивали: «Кто был с вами?», говорю: «Поэты Есенин и Мариенгоф».

– Зачем сказал?

– А что же, мне всю жизнь из-за вас, дьяволов, в каталажке сидеть?

– Ну?

– Ну, потом: «Почему побежали?» – «Потому, – отвечаю, – идиоты». Хорошо еще, что дежурный попался толковый: «Известное дело, – говорит, – имажинисты», и отпустил, не составив протокола.

«Почем-Соль» вез нам из Туркестана кишмиш, урюк, рис и разновсякого варенья целые жбаны.

А под Тулой заградительный продовольственный отряд, несмотря на имеющиеся разрешения, все отобрал.

«Заградилка» та и ее начальник из гусарских вахмистров – рыжий, веснушчатый, с носом, торчащим, как шпора, – славились на всю Россию своей лютостью.

32

В середине лета «Почем-Соль» получил командировку на Кавказ.

– И мы с тобой.

– Собирай чемоданы.

Отдельный маленький белый вагон туркестанских дорог. У нас двухместное мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник.

Секретарем у «Почем-Соли» мой однокашник по Нижегородскому дворянскому институту – Василий Гастев. Малый такой, что на ходу подметки режет.

Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. «Почем-Соль» железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев – скромно к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки.

– Слушаюсь: с первым отходящим.

С таким секретарем совершаем путь до Ростова молниеносно. Это означает, что вместо полагающихся по тому времени пятнадцати–двадцати дней, мы выскакиваем из вагона на ростовском вокзале на пятые сутки.

Одновременно Гастев и... администратор наших лекций.

Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске, после громовой статьи местной газеты, за несколько часов до начала – лекция запрещается.

На этот раз не спасает ни желтая гастевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейссовский бинокль.

Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «рокамболические» наши биографии – и под конец ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой.

С «Почем-Солью» после такой статьи стало скверно.

Отдав распоряжение «отбыть с первым отходящим», он, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег в своем купе – умирать.

Мы пробовали успокаивать, давали клятвенные обещания, что впредь никаких лекций читать не будем, но безуспешно. Он был сосредоточенно-молчалив и смотрел в пространство взглядом блуждающим и просветленным, словно врата Царствия Небесного уже разверзлись перед ним.

А на ночь принял касторки.

Поезд шел по кубанской степи.

К пустому пузырьку от касторки Есенин привязал веревку, и, раскачивая ею, как кадилом, совершал отпевание над холодеющим в суеверном страхе «Почем-Солью». Действие возвышенных слов службы и тягучая грусть напева были бы для него губительны, если бы, к счастью, вслед за этим очень быстро не наступил черед действию касторки.

Волей-неволей «Почем-Соли» пришлось встать на ноги.

Тогда Есенин придумывал новую пытку. Зная любовь «Почем-Соли» к «покушать» и невозможность сего в данный момент, он приходил в купе к нему с полной тарелкой нарезанных кружочками помидоров, лука, огурцов и крутых яиц (блюдо, горячо обожаемое нашим другом) и, усевшись против, начинал, причмокивая, причавкивая и прищелкивая языком, отправлять в рот ложку за ложкой.

«Почем-Соль» обращался к Есенину молящим голосом:

– Сереженька, уйди, пожалуйста.

Причмокивания и прищелкивания становились яростней и язвительней.

– Сережа, ты знаешь, как я люблю помидоры... у меня даже сердце начинает болеть...

Но Есенин был неумолим.

Тогда «Почем-Соль» ложился, закрывал глаза и наваливал подушку на уши.

Есенин наклонялся над подушкой, приподнимал уголок и продолжал чавкать еще громогласней и нестерпимей.

«Почем-Соль» срывался с места. Есенин преследовал его с тарелкой. «Почем-Соль» хватал первый попавшийся предмет под руку и запускал им в своего истязателя. Тот увертывался.

Тогда жертва кричала грозно и повелительно:

– Гастев, наган!

– А я уже все съел.

И Есенин показывал пустую тарелку.

Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух.

В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону – пошел галдеж по всему составу.

Мы высунулись из окна.

По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок.

Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудластой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна. Железный и живой конь бежали вровень версты две. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из вида.

Есенин ходил сам не свой.

После Кисловодска он написал в Харьков письмо девушке, к которой относился нежно.

Оно не безынтересно.

Привожу:

«Милая, милая Женя. Ради Бога, не подумайте, что мне что-нибудь от вас нужно, я сам не знаю, почему, это я стал вам учащенно напоминать о себе. Конечно, разные бывают болезни, но все они проходят. Думаю, что пройдет и эта. Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз, в этих местах, и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Дарьяла и всех прочих. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня. Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар. Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона. Уж до того на этой планете тесно и скучно. Конечно, есть прыжки для живого, вроде перехода от коня к поезду, но все это только ускорение или выпукление. По намекам это известно все гораздо раньше и богаче. Трогает меня в этом только грусть за уходящее, милое, родное, звериное и незыблемая сила мертвого, механического.

Вот вам наглядный случай из этого. Ехали мы из Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно и что же видим: за паровозом, что есть силы, скачет маленький жеребенок, так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то

станции его поймали. Эпизод – для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень многое. Конь стальной победил коня живоголого, и этот маленький жеребенок был для меня и вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы с железной...

Простите, милая, еще раз за то, что беспокою вас. Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого. Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но всегда ведь бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают».

А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм – «Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.

В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.

Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в «Сорокоусте»:

Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро, в колодце.

В Петровском порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипяток.

В «Сорокоусте»:

Се изб деревенчатый живот
Трясет стальная лихорадка.

33

Забыл рассказать.

Случайно на платформе ростовского вокзала я столкнулся с Зинаидой Николаевной Райх. Она ехала в Кисловодск.

Зимой Зинаида Николаевна родила мальчика. У Есенина спросила по телефону:

– Как назвать?

Есенин думал, думал – выбирая нелитературное имя – и сказал:

– Константином.

После крещенья спохватился:

– Черт побери, а ведь Бальмонта Константином зовут.

На сына посмотреть не поехал.

Заметив на ростовской платформе меня, разговаривающего с Райх, Есенин описал полукруг на каблуках и, вскочив на рельсу, пошел в обратную сторону, ловя равновесие плавающими в воздухе руками.

Зинаида Николаевна попросила:

– Скажите Сереже, что я еду с Костей. Он его не видал. Пусть зайдет, взглянет. Если не хочет со мной встречаться, могу выйти из купе.

Я направился к Есенину. Передал просьбу.

Сначала он заупрямился:

– Не пойду. Не желаю. Нечего и незачем мне смотреть.

– Пойди – скоро второй звонок. Сын же ведь.

Вошел в купе, сдвинул брови. Зинаида Николаевна развязала ленточки кружевного конвертика. Маленькое розовое существо барахтало ножками...

– Фу! Черный!.. Есенины черные не бывают...

– Сережа!

Райх отвернулась к стеклу. Плечи вздрогнули.

– Ну, Анатолий, поднимайся.

И Есенин легкой, танцующей походкой вышел в коридор международного вагона.

34

На обратном пути в Пятигорске мы узнали о неладах в Москве: будто, согласно какому-то распоряжению, прикрыты – и наша книжная лавка, и «Стойло Пегаса», и книги не вышли, об издании которых договорились с Кожебаткиным на компанейских началах.

У меня тропическая лихорадка – лежу пластом. Есенин уезжает в Москву один, с красноармейским эшелоном.

Еще месяц я мотаюсь по Кавказу. Наш вагон прыгает, словно блоха, между Минеральными – Петровским портом – Баку.

Наконец – восвояси. Мы в хвосте скорого на Москву. Белыми простынями застлана земля, а горы – как подушки в сверкающих полотняных наволоках.

В Москве случайно, на улице, встречено первым Шершеневича. Я еду с вокзала. Из-под чемоданов, корзин, мешков торчит моя голова в летней светлой шляпе.

Останавливаю извозчика. Шершеневич вскакивает на подножку:

– Знаешь, арестован Сережа. Попал в какую-то облаву. Третий день. А магазин ваш и «Стойло» открыты, книги вышли...

Так с чемоданом, корзинами и мешками, вместо дома, несусь в Центропечать к Борису Федоровичу Малкину – всегдашнему нашему защитнику, палочке-выручалочке.

– Что же это такое?.. Как же это так?.. Борис Федорович, а?.. Сережа арестован!

Борис Федорович снимает телефонную трубку.

А вечером Есенин дома. На физию серой тенью легла смешная чумазость. Щеки, губы, подбородок – в рыжей, милой, жесткой щетине. В голубых глазах–сквозь радость встречи – глубокая ссадина, точащая обидой.

За чаем поет бандитскую:

В жизни живем мы только раз,
Когда отмычки есть у нас.
Думать не годится,
В жизни что случится,
Эх, в жизни живем мы только раз.

35

Опять перебрались в Богословский. В том же бахрушинском доме, но в другой квартире.

У нас три комнаты, экономка (Эмилия) в кружевном накрахмаленном фартучке и борзый пес (Ирма).

Кормит нас Эмилия рябчиками, глухарями, пломбирами, фруктовыми муссами, золотыми ромовыми бабами.

Оба мы необыкновенно увлечены образцовым порядком, хозяйственностью, сытым благополучием.

На брюках вытюжена складочка; воротнички, платочки, рубахи поразительной белоснежности. Есенин мечтает:

– Подожди, Анатолий, и типография своя будет, и автомобиль ржать у подъезда.

Три дня подряд у нас обедает один крестьянский поэт.

На четвертый Есенин заявляет:

– Не к нам он ходит, а ради мяса нашего, да рябчики жрать.

Эмилия получает распоряжение приготовить на обед картошку.

– Вот посмотрю я, как он часто после картошки будет ходить.

Словно в руку Есенину, после картофельного обеда недели две крестьянский стихотворец не показывает носа.

По вечерам частенько бываем на Пресне, у Сергея Тимофеевича Коненкова. Маленький, ветхий, белый домик – в нем мастерская и кухонка. В кухонке живет Коненков. В ней же Григорий Александрович (коненковский дворник, коненковская нянька и верный друг) поучает нас мудрости. У Григория Александровича лоб Сократа. Коненков тычет пальцем:

– Ты его слушай да в коробок свой прячь – мудро он говорит: кто ты есть? А есть ты человек. А человек есть – чело века. Понял?

И, взяв гармошку, Коненков затягивает есенинское яблочко:

Эх, яблочко
Цвету звонкого,
Пьем мы водочку
Да у Коненкова.

Один Новый год встречали в Доме печати. Есенина упросили спеть его литературные частушки. Василий Каменский взялся подыгрывать на тальянке.

Каменский уселся в кресле на эстраде, Есенин – у него на коленях.

Начали:

Я сидела на песке
У моста высокого,
Нету лучше из стихов
Александра Блокова.

Ходит Брюсов по Тверской
Не мытой, а крысиной.
Дядя, дядя я большой,
Скоро буду с лысиной.

Ах, сыпь! Ах, жарь!
Маяковский бездарь.
Рожа краской питана,
Обокрал Уитмана.

Ох, батюшки, ох-ох-ох,
Есть поэт Мариенгоф.
Много кушал, много пил,
Без подштанников ходил.

Сделала свистулечку
Из ореха грецкого,
Нету яре и звончей
Песен Городецкого.

И, хитро глянув на Каменского, прижавшись коварнейшим образом к его груди, запел во весь голос припасенную под конец частушку:

Квас сухарный, квас янтарный,
Бочка старо-новая,
У Васятки, у Каменского,
Голова дубовая.

Туго набитый живот зала затрясся от хохота. В руках ратерявшегося Каменского поперхнулась гармошка.

36

Зашел к нам на Никитскую в лавку человек – предлагает недорого шапку седого бобра. Надвинул Есенин шапку на свою золотую пену и пошел к зеркалу. Долго делал ямку посреди, слегка бекренил, выбивал из-под меха золотую прядь и распушал ее. Важно пузыря губы, смотрел на себя в стекло, пока сквозь важность не глянула на него из стекла улыбка, говорящая: «И до чего же это я хорош в бобре!»

Потом попримерил я.

Со страхом глядел Есенин на блеск и на черное масло моих расширяющихся зрачков.

– Знаешь, Анатолий, к тебе не тово... Не очень...

– А ты в ней, Сережа, гриба вроде... Березовика... Не идет...

– Ну?..

И оба глубоко и с грустью вздохнули. Человек, принесший шапку, переминался с ноги на ногу.

Я сказал:

– Наплевать, что не к лицу... зато тепло будет... я бы взял.

Есенин погладил бобра по серебряным иглам.

– И мне бы тепло было! – произнес он мечтательно.

Кожебаткин посоветовал

– А вы бы, господа, жребий метнули.

И рассмеялся ноздрями, из которых торчал волос, густой и черный, как на кисточках для акварели.

Мы с Есениным невозможно обрадовались.

– Завязывай, Мелентьич, на платке узел.

Кожебаткин вытащил из кармана платок.

Есенин от волнения хлопал себя ладонями по бокам, как курица крыльями.

– Н-ну!..

И Кожебаткин протянул кулак, из которого торчали два загадочных ушка.

Есенин впился в них глазами, морщил и тер лоб, шевелил губами, что-то прикидывали соображал. Наконец уверенно ухватился за тот, что был поморщинистей и погорбатей.

Покупатели, что были в лавке, и продавец шапки сомкнули вокруг нас кольцо.

Узел и бобровую шапку вытащил я.

С того случая жребьеметание прочно внедрилось в нашу жизнь.

Двадцать первый год балует нас двумя комнатами: одна похуже, повыцвестей обоями, постарей мебелью, другая – с министерским письменным столом, английскими креслами и аршинным бордюром в коричневых хризантемах.

Передо мной два есенинских кулака – в одном зажата бумажка.

Пустая рука – пустая судьба.

В непрекословной послушности року доходили до того, что перед дверью уборной (когда обоим приспичивало одновременно) ломали спичку. Счастливец, вытащивший серную головку, торжественно вступал в тронный зал.

37

Генерал Иванов, получив от царя приказ прибыть с георгиевцами для усмирения февральского Петербурга, прежде всего вспомнил о своих добрых знакомых в столице и попросил адъютанта купить в Могилеве сотенку яичек из-под курочки и с полпудика сливочного маслица.

Пустячное дело! Пройдет по торцам Невского молодецким маршем георгиевский батальон, под охи и ахи медных труб – и конец всем революциям.

А там – генерал отдаст яички добрым знакомым, погреет у камелька старые ноги в красных лампасах, побрюзжит, поскрипит, потешится новым орденом, царской благодарностью, и – обратно на фронт.

Но яички так и не пришли по назначению.

Март.

Любовью гимназистки влюбилась Россия в Александра Федоровича Керенского.

Ах, эта гимназическая любовь!

Ах, непостоянное гимназическое сердечко?..

Прошли медовые весенние месяцы.

Июнь.

Галицийские поля зацвели кровью.

Заворочался недовольный фронт.

Август.

Корнилов поднимает с фронта туземный корпус. Осетинские и Дагестанские полки. Генералы Крымов и Краснов принимают командование. Князь Гагарин с черкесами и ингушами на подступах к Петербургу.

Но телеграммы Керенского разбивают боевых генералов.

Начало октября. Генералу Краснову сотник Карташов делает доклад.

Входит Керенский. Протягивает руку офицеру. Тот вытягивается, стоит смирно и не дает своей руки. Побледневший Керенский говорит:

– Поручик, я подал вам руку.

– Виноват, господин верховный главнокомандующий, я не могу подать вам руки, я – корниловец, – отвечает сотник.

Керенский не вполне угодил господам офицерам.

А рабочим и солдатам?

Еще меньше.

Они своевременно об этом его уведомили. Правда, не столь церемонно, как сотник Карташов.

Одну неправдоподобь сменяет другая – более величественная.

Девятнадцатый и двадцатые годы.

Гражданская война.

В Одесском Совете депутатов Муравьев говорит:

– ...в одни сутки мы восстановили разрушенный Радой сорокасаженный мост и ворвались в Киев. Я приказал артиллерии бить по самым большим дворцам, по десятиэтажному дому Грушевского. Дом сгорел дотла. Я зажег город. Бил по дворцам, по церквам, по попам, по монахам. Двадцать пятого января оборонческая дума просила перемирия. В ответ я велел бить химическими удушливыми газами... Говоря по

прямому проводу с Владимиром Ильичом, я сказал ему, что хочу идти с революционными войсками завоевать весь мир...

Шекспировский монолог.

Литературу всегда уговаривают, чтобы она хоть одним глазом, а поглядывала на жизнь. Вот мы и поглядывали.

Однажды имажинистам показалось, что в искусстве поднимает голову формальная реакция.

«Верховный совет» имажинистов (Есенин, Эрдман, Шершеневич, Кусиковия) на тайном заседании решил объявить «всеобщую мобилизацию» в защиту левых форм.

В маленькой тайной типографии мы отпечатали «приказ». Ночью вышли на улицы клеить его на заборах, стенах, столбах Москвы – рядом с приказами военного комиссариата в дни наиболее решительных боев с белыми армиями.

Кухарки ранним утром разнесли страшную новость о «всеобщей» по квартирам. Перепуганный москвич толпами стоял перед «приказом». Одни вообще ничего не понимали, другие читали только заглавие – хватались за головы и бежали как оглашенные. «Приказ» предлагал такого-то числа и дня всем! всем! всем! собраться на Театральной площади со знаменами и лозунгами, требующими защиты левого искусства. Далее – шествие к Московскому совету, речи и предъявления «пунктов».

Около полудня к нам на Никитскую в книжную лавку прибежали Шершеневич и Кусиков.

Глаза у них были вытаращены и лица белы. Кусиков, медленно ворочая одеревеневшим языком, спросил:

– Вы... еще... т-торгуете?..

Есенин забеспокоился:

– А вы?..

– Нас... уже!..

– Что уже?..

– Запечатали... за мобилизацию... и...

Кусиков холодными пальцами вынул из кармана и протянул нам узенькую повестку.

Есенин прочел грозный штамп.

– Толя, пойдем... погуляем...

И потянулся к шляпе.

В этот момент перед зеркальным стеклом магазина остановился черный крытый автомобиль. Из него выскочило два человека в кожаных куртках.

Есенин отложил шляпу. Спасительное «погулять» слишком поздно пришло ему в голову. Люди в черной коже вошли в магазин. А через несколько минут Есенин, Шершеневич, Кусиков и я были в МЧК.

Следователь, силясь проглотить смешок, вел допрос.

Есенин говорил:

– Отец родной, я же с большевиками... я же с Октябрьской революцией... читал мое:

Мать моя родина,
Я большевик.

– А он (и тыкал в меня пальцем) про вас писал... красный террор воспел:

В этой черепов груде
Наша красная месть...

Шершеневич мягко касался есенинского плеча:

– Подожди, Сережа, подожди... товарищ следователь, к сожалению, в последние месяцы от русской литературы пошел запашок буниновщины и мережковщины...

– Отец родной, это он верно говорит... завоняла... смердеть начала...

Из-под «вечного» золотого следовательского пера ползли суровые и сердитые буквы, а палец, которым чесал он свою

макушку, ероша на ней белобрысенький пух, был непростительно для такого учреждения добродушен и несерьезен.

– Подпишитесь здесь.

Мы молча поставили свои имена.

И через час – на радостях угощали Шершеневича и Кусикова у себя, на Богословском, молодым кахетинским.

Есенин напевал:

Все, что было,
Чем сердце ныло...

А назавтра, согласно данному следователю обязательству, явились на Театральную площадь отменять мобилизацию.

Черноволосые девушки не хотели расходиться, требуя «стихов», курчавые юноши – «речей».

Мы таинственно разводили руками. Отряд в десять всадников конной милиции преисполнил нас гордостью.

Есенин шепнул мне на ухо:

– Мы вроде Марата... против него тоже, когда он про министра Неккера написал, двенадцать тысяч конницы выставили.

38

«Почем-Соль» уезжал в Крым. Дела наши сложились так, что одному необходимо было остаться в Москве. Тянем жребий. На мою долю выпадает поездка. Уславливаемся, что следующая отлучка за Есениным.

Возвращаюсь через месяц. Есенин читает первую главу Пугачева.

Ох, как устал и как болит нога,
Ржет дорога в жуткое пространство...

С первых строк чувствую в слове кровь и мясо. Вдавив в землю ступни и пятки – крепко стоит стих.

Я привез первое действие «Заговора дураков».

Отправляемся распить бутылочку за возвращение и за начало драматических поэм. С нами «Почем-Соль».

На Никитском бульваре в красном каменном доме на седьмом этаже у Зои Петровны Шатовой найдешь не только что николаевскую «белую головку», «перцовки» и «зубровки» Петра Смирнова, но и старое бургундское, и черный английский ром.

Легко взбегаем нескончаемую лестницу. Звоним условленные три звонка.

Отворяется дверь. Смотрю, Есенин пятится.

– Пожалуйста!.. пожалуйста!.. входите... входите... и вы... и вы... А теперь попрошу вас документы!.. – очень вежливо говорит человек при нагане.

Везет нам последнее время на эти проклятые встречи.

В коридоре сидят с винтовками красноармейцы. Агенты производят обыск.

– Я поэт Есенин!

– Я поэт Мариенгоф!

– Очень приятно.

– Разрешите уйти...

– К сожалению...

Делать нечего – остаемся.

– А пообедать разрешите?

– Сделайте милость. Здесь и выпивочка найдется... Не правда ли, Зоя Петровна?..

Зоя Петровна пытается растянуть губы в угодливую улыбку. А растягиваются они в жалкую испуганную гримасу.

«Почем-Соль» дергает скулами, теребит бородавочку и разворачивает один за другим мандаты, каждый величиной с полотняную наволочку.

На креслах, на диване, на стульях шатовские посетители, лишенные аппетита и разговорчивости.

В час ночи на двух грузовых автомобилях мы компанией человек в шестьдесят отправляемся на Лубянку.

Есенин деловито и строго нагрузил себя, меня и «Почем-Соль» подушками Зои Петровны, одеялами, головками сыра, гусями, курами, свиными корейками и телячьей ножкой.

В «предварилке» та же деловитость и распорядительность. Наши нары, устланные бархатистыми одеялами, имеют уютный вид.

Неожиданно исчезает одна подушка.

Есенин кричит на всю камеру:

– Если через десять минут подушка не будет на моей наре, потребую общего обыска... слышите... вы... граждане... черт вас возьми!

И подушка возвращается таинственным образом.

Ордер на наше освобождение был подписан на третий день.

39

Есенин уехал с «Почем-Солью» в Бухару. Штат нашего друга пополнился еще одним комическим персонажем – инженером Левой.

Лева на коротеньких кривых ножках, покрыт большой головой с плешью, розовой, как пятка у девушки. Глаза у него грустные, и весь он грустный, как аптечная склянка.

Лева любит поговорить об острых, жирных и сдобных яствах, а у самого катар желудка и ест одни каши, которые сам же варит на маленьком собственном примусе в чистенькой собственной медной кастрюльке.

От Минска и до Читы, от Батума и до Самарканда нет такого местечка, в котором бы у Левы не нашлось родственника.

Этим он и завоевал сердце «Почем-Соли».

Есенин говорит:

– Хороший человек! С ним не пропадешь – на колу у турка встретит троюродную тетю.

Перед отъездом «Почем-Соль» поставил Леве условие:

– Хочешь в моем штате состоять и в Туркестан ехать – купи себе инженерскую фуражку. Без бархатного околыша какой дурак поверит, что ты политехникум окончил?

Лева скуп до наивности, и такая трата ввергает его в пропасть уныния.

Есенин уговаривает «Почем-Соль»:

– Все равно никто не поверит...

Лева бурчит:

– Пгистал ко мне с фугажкой, как лавговый лист к заднице...

Есенин поправляет:

– Не лавровый, Лева, а банный – березовый...

– Безгазлично... Я ему, дугаку, говогю... Тут фугашка пагшивая, а там тги пуда муки за эти деньги купишь...

«Почем-Соль» сердится:

– Ничего вы не понимаете! Мне для красоты инженер нужен. Чтоб из окошка вагона выглядывал...

– Так ты инженерскую фуражку на проводника и надень.

У «Почем-Соли» скулы бьют чечетку.

Лева безнадежно машет рукой:

– Чегт с тобой... пойду завтга на Сухагевку...

Денег наскребли Есенину на поездку маловато. Советуемся с Левой – как бы увеличить капитал.

Лева потихоньку от «Почем-Соли» сообщает, что в Бухаре золотые десятирублевки дороже в три раза.

Есенин дает ему денег:

– Купи мне.

На другой день вместо десятирублевок Лева приносит кучу обручальных колец.

Начинаем хохотать.

Кольца все несуразные, огромные – продевай.

Лева резонно успокаивает:

– Не жениться же ты, Сегежка, собигаешься, а пгодавать... говогю, загаботаешь – и загаботаешь...

Возвратясь, смешно мне рассказывал Есенин, как бегал Лева, высунув язык, с этими кольцами по Ташкенту, шнырял по базарам и лавчонкам и как пришлось в конце концов спустить их, понеся потери. Целую неделю Лева был мрачен и, будто колдуя, под нос себе шептал холодными губами:

– Убитки!.. какие убитки...

С дороги я получил от Есенина письмо:

«Милый Толя, привет тебе и целование.

Сейчас сижу в вагоне и ровно третий день смотрю из окна на проклятую Самару и не пойму никак – действительно ли я ощущаю все это или читаю „Мертвые души“ с „Ревизором“. „Почем-Соль“ пьян и уверяет своего знакомого, что он написал „Юрия Милославского“, что все политические тузы – его приятели, что у него все „курьеры, курьеры, курьеры“. Лева сидит хмурый и спрашивает меня чуть ли не по пяти раз в день о том: „съел ли бы я сейчас тарелку борща малороссийского“. Мне вспоминается сейчас твоя кислая морда, когда ты говорил о селедках. Если хочешь представить меня, то съешь кусочек и посмотри на себя в зеркало.

Еду я, конечно, ничего, не без настроения все-таки, даже рад, что плюнул на эту проклятую Москву. Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь. Последнее происшествие меня таки сильно ошеломило. Больше, конечно, так пить я уже не буду, а сегодня, например, даже совсем отказался, чтоб посмотреть на пьяного „Почем-Соль“. Боже мой, какая это гадость, а я, вероятно, еще хуже бывал.

Климат здесь почему-то в этот год холоднее, чем у нас. Кой-где даже есть еще снег. Так что голым я пока не хожу и сплю, покрываясь шубой. Провизии здесь, конечно, до того „много“, что я невольно спрашиваю в свою очередь Леву: „А ты, Лева, съел бы колбасу?“ Вот так сутки, другие, третьи, четвертые, пятые, шестые едем-едем, а оглянешься в окно – как заколдованное место проклятая Самара.

Вагон, конечно, хороший, но все-таки жаль, что это не ровное стоячее место. Бурливой голове трудно думается в такой тряске. За

поездом у нас опять бежала лошадь (не жеребенок), но я теперь говорю: „Природа, ты подражаешь Есенину“.

Итак, мой друг, часто вспоминаю тебя, нашу милую Эмилию и опять, опять возвращаемся к тому же: „Как ты думаешь, Лева, а что теперь кушает Анатолий?“

В общем, поездка очень славная. Я и всегда говорил себе, что проехаться не мешает, особенно в такое время, когда масло в Москве 16–17, а здесь 25–30.

Это, во-первых, экономно, а во-вторых, но, во-вторых, Ваня (слышу: Лева за стеной посылает „Почем-Соль“ к священной матери), это на второе у нас полагается.

Итак, ты видишь – все это довольно весело и занимательно, так что мне без труда приходится ставить точку, чтоб поскорей отделаться от письма. О, я недаром говорил себе, что с „Почем-Солью“ ездить очень весело.

Твой Сергун.

Привет Коненкову, Сереже и Дав. Самойл.

P.S... Прошло еще четыре дня с тех пор, как я написал тебе письмо, а мы еще в Самаре. Сегодня с тоски, то есть с радости, вышел на платформу, подхожу к стенной газете и зрю, как самарское Лито кроет имажинистов. Я даже не думал, что мы здесь в такой моде...»

40

В дни отсутствия Есенина я познакомился в шершеневичской книжной лавочке с актрисой Камерного театра – Анной Никритиной (в будущем моей женой).

Как-то в мягкую апрельскую ночь мы сидели у Каменного моста. Купол храма Христа плыл по темной воде Москвы-реки, как огромная золотая лодка. Тараща глазищами и шипя шинами, проносились по мосту редкие автомобили. Волны били свое холодное стеклянное тело о камень.

Хотелось говорить о необычном и необычными словами.

Я поднял камень и бросил в реку, в отражение купола храма.

Золотая лодка брызнула искрами, сверкающей щепой и черными щелями.

– Смотрите!

По реке вновь плыло твердое и ровное золото. А о булыжнике, рассекшем его, не было памяти и следа.

Я говорил о дружбе, сравнивая ее с тенью собора в реке, и о женщинах, которые у нас были, подобных камню.

Потом завязал узел на платке, окунул конец в воду, мокрым затянул еще и, подавая Никритиной, сказал:

– Теперь попробуйте... развяжите...

Она подняла на меня глаза.

– Зачем?

– Будто каменным стал узел... вот и дружба наша с Есениным такая же...

И заговорил о годах радостей общих и печалей, надежд и разуверений. Она улыбнулась:

– В рифму и ямбом у вас, пожалуй, лучше получится.

И мне самому стало немножко смешно и неловко от слов, расхаживающих по-индючьи важно.

Мы разошлись с Есениным несколькими годами позже. Но теперь я знаю, что это случилось не в двадцать четвертом году, после возвращения его из-за границы, а гораздо раньше. Может быть, даже в лавочке Шершеневича, когда впервые я увидел Никритину. А может быть, в ту ночь, когда мне захотелось говорить о дружбе необычными словами.

41

Задымились серебряной пылью мостовые. По нашему Богословскому ходит ветхий седенький дворник, похожий на коненковского деревянного «старенького старичка». Будто не ноги передвигает он, а толстые, березовые, низко подрубленные пни. В руках у дворника маленькая зеленая леечка.

Из нее он поливает дымящиеся пылью булыжники. Двигается медленно, медленно склоняет узкую шею лейки, а та, нехотя, фыркает на горячий камень светлыми малюсенькими брызгами.

Когда-то «старенький старичок» был садовником и поливал из зеленой леечки нежные розовые левкои.

Тогда нужен был он, его леечка и цветы, пахнущие хорошим французским мылом.

А булыжники, которые он поливает, начинают дымиться наново раньше, чем он дойдет до конца своей мостовой, длиной в десяток сажен.

Я с Никритиной возвращался с бегов.

Как по клавишам рояля, били по камню подковы рысака. Никритина еще ни разу не была у нас в доме. Я долго уговаривал, просил, соблазнял необыкновенным кулинарным искусством Эмилии.

А когда она согласилась, одним легким духом взбежал три этажа и вонзил палец в звонок. Вонзив же, забыл вытащить. Обалдевший звонок горланил так же громко, как мое сердце.

Когда распахнулась дверь и на меня глянули удивленные, перепуганные и любопытные глаза Эмилии, я мгновенно изобрел от них прикрытие и прозрачную ложь:

– Умираю от голода! есть! есть! е...

В коридоре мешки с мукой, кишмишем, рисом и урюком.

Влетел в комнату. Чемоданы, корзины, мешки.

– Сергей Александрович приехали... вас побежали искать...

Я по-ребячьи запрыгал, по-ребячьи захлопал в ладоши, по-ребячьи уцепил Никритину за ладони.

А из них по капелькам вытекала теплота.

В окно било солнце, не по-весеннему жаркое.

– Я пойду...

И она высвободила из моих пальцев две маленькие враждебные льдинки.

Я проводил ее до дому. Прощаясь, ловил взгляд и не мог поймать – попадались стиснутые брови и ресницы, волочащиеся по щекам, как мохры старомодной длинной юбки.

Есенина нашел в «Стойле Пегаса».

И почему-то, обнимая его, я тоже прятал глаза.

Вечером «Почем-Соль» сетовал:

– Не поеду, вот тебе слово, в жизни больше не поеду с Сергеем... Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам, прохвост, погрузки устраивал... я, можно сказать, гроза там... центральная власть, уполномоченный, а он кишмишников в вагон с базара таскает. Я им по два пуда с Левой разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли...

Есенин нагибается к моему уху:

– По двенадцати!..

– Перед поэтишками тамошними метром ходит... деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую лавчонку устроил... с урючниками до седьмого пота торгуется... И какая же, можно сказать, я после этого – гроза... уполномоченный...

– Скажи, пожалуйста, «урюк, мука, кишмиш»!.. А то, что я в твоем вагоне четвертую и пятую главу «Пугачева» написал, это что?.. Я тебя, сукина сына, обессмерчиваю, в вечность ввожу... а он – «урюк! урюк!..»

При слове «вечность» замирали слова на губах «Почем-Соли», и сам он начинал светиться ласково, тепло, умиротворенно, как в глухом слякотном пензенском переулке окошечко под кисейным ламбрекенчиком, озаренное керосиновой лампой с абажуром из розового стекла, похожим на выкрахмаленную нижнюю юбку провинциальной франтихи.

42

Когда Никритина уезжала в Киев, из какой-то ласковой и теплой стесненности и смешной неудоби я не решился проводить ее на вокзал.

Она жила в Газетном переулке. Путь к Брянскому шел по Никитской мимо нашей книжной лавки.

Поезд уходил часа в три. Боясь опоздать, с половины одиннадцатого я стал собираться в магазин. Обычно никогда не приходили мы раньше двух. А в лето «Пугачева» и «Заговора» заглядывали на часок после обеда и то не каждый день.

Есенин удивился:

– Одурел... в такую рань...

– Сегодня день бойкий...

Уставившись на меня, ехидно спрашивал:

– Торговать, значит?.. Ну, иди, иди, поторгуй.

И сам отправился со мной для проверки.

А как заявились, уселся я у окна и заерзал глазами по стеклу.

Когда заходил покупатель, Есенин тыкал меня локтем в бок:

– Торгуй!.. торгуй...

Я смотрел на него жалостливо.

А он:

– Достаньте, Анатолий Борисович, с верхней полки Шеллера-Михайлова.

Проклятый писателишко написал назло мне томов пятьдесят. Я скалил зубы и на покупателя, и на Есенина. А на зловредное обращение ко мне на «вы» и «с именем-отчества» отвечал с дрожью в голосе:

– Товарищ Есенин.

И вот: когда стоял на лесенке, балансируя кипою ростом в полтора аршина, увидел в окошко, сквозь серебряный кипень пыли, извозчика и в ногах у него знакомую мне корзиночку.

Трудно балансировать в таком положении. А на извозчичьем сиденье беленькая гамлетка, кофточка из батиста с галстучком и коричневая юбочка. Будто не актриса эстетствующего в Гофмане, Клоделе и Уапльде театра, а гимназисточка класса шестого ехала на каникулы в тихий Миргород.

Тут уж не от меня, а от судьбы – месть за то, что был Есенин неумолим и каменносердечен.

Вся полутороаршинная горка Шеллера-Михайлова низверглась вниз, тарабаря по есенинскому затылку жесткими «нивскими» переплетами.

Я же пробкой от сельтерской вылетел из магазина, навсегда обнажив сердце для каверзнейших стрел и ядовитейших шпилек.

43

На лето остались в Москве. Есенин работал над «Пугачевым», я – над «Заговором дураков». Чтоб моркотно не было, от безалабери, до обеда закрыли наши двери и для друзей, и для есенинских подруг. У входа даже соответствующую вывесили записку.

А на тех, для кого записка наша была не указом, спускали Эмилию.

Она хоть за ляжки и не хватала, но цербером была знаменитым.

Материал для своих исторических поэм я черпал из двух-трех старых книжонок, Есенин – из академического Пушкина.

Кроме «Истории Пугачевского бунта» и «Капитанской дочки», так почти ничего Есенин и не прочел, а когда начинала грызть совесть, успокаивал себя тем, что Покровский все равно лучше Пушкина не напишет.

Меня же частенько уговаривал приналечь на «Ледяной дом».

Я люблю есенинского «Пугачева». Есенин умудрился написать с чудесной наивностью лирического искусства суровые характеры и отнюдь не лирическую тему.

Поэма Есенина вроде тех старинных православных иконок, на которых образописцы изображали бога отдыхающим после сотворения мира на полатях под лоскутным одеялом.

А на полу рисовали снятые валенки. Сам же бог – рыжебородый новгородский мужик с желтыми мозолистыми пятками.

Петр I предавал такие иконы сожжению как противные вере. Римские папы и кардиналы лучше его чувствовали искусство. На иконах в соборах Италии – святые щеголяют модами эпохи Возрождения.

Свои поэмы по главам мы читали друзьям. Как-то собрались у нас: Коненков, Мейерхольд Густав Шлет, Якулов. После чтения Мейерхольд стал говорить о постановке «Пугачева» и «Заговора» у себя в театре.

– А вот художником пригласим Сергея Тимофеевича, – обратился Мейерхольд к Коненкову, – он нам здоровеннейших этаких деревянных болванов вытешет.

У Коненкова вкось пошли глаза:

– Кого?

– Я говорю, Сергей Тимофеевич, вы нам болванов деревянных...

– Болванов?

И Коненков так стукнул о стол стаканом, что во все стороны брызнуло стекло мельчайшими брызгами.

– Статуи... из дерева... Сергей Тимофеевич...

– Для балагана вашего.

Коненков встал:

– Ну, прости, Серега... прости, Анатолий... я пойду... пойду от «болванов» подальше...

Обиделся он смертельно.

А Мейерхольд ничего не понимал: чем разобидел, отчего заварилась такая безладица.

Есенин говорил:

– Все оттого, Всеволод, что ты его не почуял... «Болваны»!.. Разве возможно!.. Ты вот бабу так нежно по брюху не гладишь, как он своих деревянных «мужичков болотных» и «стареньких старичков»... в мастерской у себя никогда не разденет их при чужом глазе... Запеременишь, холстяные чехлы снимает, как с невесты батистовую рубашечку в первую ночь... А ты – «болваны»... разве возможно!..

Есенин нравоучил, а Якулов утешал Мейерхольда на свой якуловский неподражаемый манер:

– Он... гхе-гхе... Азия, Всеволод, Азия... вот греческую королеву лепил... в смокинге из Афин приехал... из бородищи своей эспаньолку выкроил... ну, думаю, – европейский художник... а он... гхе-гхе... пришел раз ко мне, ну... там шампанское было, фрукты, красивые женщины... гхе-гхе... он говорит: двинем ко мне, на Пресню, здесь, гхе-гхе, скучно... чем, думаю, после архипелага греческого подивит... а он в кухню к себе привез... водки две бутылки... гхе-гхе... огурцов соленых, лук головками... а сам на печь и... гхе-гхе... за гармошку... щиблеты снял, а потом... гхе-гхе... пойте, говорит: «Как мы просо сеяли, сеяли»... можно сказать, красивые женщины... гхе-гхе... жилет белый... художник европейский... гхе-гхе... Азия, Всеволод, Азия...

44

Больше всего в жизни Есенин боялся сифилиса. Выскочит, бывало, на носу у него прыщик величиной с хлебную крошку, и уж ходит он от зеркала к зеркалу суров и мрачен.

На дню спросит раз пятьдесят:

– Люэс, может, а?.. а?..

Однажды отправился даже в Румянцевку вычитывать признаки страшной хворобы.

После того стало еще хуже – чуть что:

– Венчик Венеры!

Когда вернулись они с «Почем-Солью» из Туркестана, у Есенина от беспрерывного жеванья урюка стали слегка кровоточить десны.

Перед каждым встречным и поперечным он задирал губу:

– Вот кровь идет... а?.. не первая стадия?.. а?..

Как-то Кусиков устроил вечеринку. Есенин сидел рядом с Мейерхольдом.

Мейерхольд ему говорил:

– Знаешь, Сережа, я ведь в твою жену влюблен… в Зинаиду Николаевну… Если поженимся, сердиться на меня не будешь?..

Есенин шутливо кланялся Мейерхольду в ноги:

– Возьми ее, сделай милость… По гроб тебе благодарен буду.

А когда встали из-за стола, задрал перед Мейерхольдом губу:

– Вот… десна… тово…

Мейерхольд произнес многозначительно:

– Н-да-а…

И Есенин вылинял с лица, как ситец от июльского солнца.

Потом он отвел в сторону «Почем-Соль» и трагическим шепотом сообщил ему на ухо:

– У меня сифилис… Всеволод сказал… а мы с тобой из одного стакана пили… значит…

У «Почем-Соли» подкосились ноги.

Есенин подвел его к дивану, усадил и налил в стакан воды:

– Пей!

«Почем-Соль» выпил. Но скулы продолжали прыгать.

Есенин спросил:

– Может, побрызгать?

И побрызгал.

«Почем-Соль» глядел в ничто невидящими глазами.

Есенин сел рядом с ним на диван и, будто деревянный шарик из чашечки бильбоке, выронил с плеч голову на руки.

Так просидели они минут десять. Потом поднялись и, волоча ступни по паркету, вышли в прихожую.

Мы с Кусиковым догнали их у выходной двери.

– Куда вы?

– Мы домой… у нас сифилис…

И ушли.

В шесть часов утра Есенин расталкивал «Почем-Соль»:

– Вставай… К врачу едем…

«Почем-Соль» мгновенно проснулся, сел на кровать и стал в одну штанину подштанников всовывать обе ноги.

Я пробовал шутить:

– Мишук, у тебя уже начался паралич мозга!

Но, когда он взъерошил на меня глаза, я горько пожалел о своей шутке.

Зрачки его в ужасе расползались, как чернильные капли, упавшие на промокашку.

Бедняга поверил.

Есенин с деланным спокойствием ледяными пальцами завязывал галстук.

Потом «Почем-Соль», забыв одеть галифе, стал прямо на подштанники натягивать сапоги.

Я положил ему руку на плечо:

– Хотя ты теперь, Миша, и «полный генерал», но все-таки сенаторской формы тебе еще не полагается!

Есенин, не повернувшись, сказал, дрогнув плечами:

– А ты все остришь!.. даже когда пахнет пулей браунинга… – И с сокрушенной горестью: – Это – друг… друг…

Половина седьмого они обрывали звонок у тяжелой дубовой двери с медной, начищенной кирпичом дощечкой.

От горничной, не успевшей еще телесную рыхлость, заревые сны и плотоядь упрятать за крахмальный фартучек, шел теплый пар, как от утренней болотной речки. В щель через цепочку она буркнула что-то о раннем часе и старых костях профессора, которым нужен покой.

Есенин бил кулаками в дверь до тех пор, пока не услышал в ответ кашель, сипы и охи из дальней комнаты.

Старые кости поднялись с постели, чтобы прописать одному – зубной эликсир и мягкую зубную щетку, а другому:

– Бром, батенька мой, бром…

Прощаясь, профессор кряхтел:

– Сорок пять лет практикую, батенька мой, но такого, чтоб двери ломали... нет, батеньки мои... и добро бы с делом пришли... а то... большевики, что ли?.. то-то! то-то!.. Ну, будьте здоровы, батеньки мои...

45

Эрмитаж. На скамьях ситцевая веселая толпа. На эстраде заграничные эксцентрики – синьор Везувио и дон Мадриде. У синьора нос вологодской репкой, у дона – полтавской дулей.

Дон Мадриде ходит колесом по цветистому русскому ковру. Синьор ловит его за шароварину:

– Фи, куды пошелъ?

– Ми, синьор, до дому...

А в эрмитажном парке пахнет крепким белым грибом. Как-то около забора Есенин нашел две землянички.

Я давно не был в Ленинграде. Так же ли, как и в те чудесные годы, меж торцов Невского вихрявится милая нелепая травка.

Синьора Везувио и дона Мадриде сменила знаменитая русская балерина. Мы смотрим на молодые упругие икры. Носок – подобно копью – вонзен в дощатый пьедестал. А щеки мешочками, и под глазами пятидесятилетняя одутловатость. Но об этом знает зеркало в уборной, а не ситцевые взволнованные ряды.

Чудесная штука искусство.

Из гнусавого равнодушного рояля человек с усталыми темными веками выколачивает «Лебединое озеро».

К нам подошел Жорж Якулов. На нем фиолетовый френч из старых драпри. Он бьет по желтым крагам тоненькой тросточкой. Шикарный человек. С этой же тросточкой в белых перчатках водил свою роту в атаку на немцев. А потом на оранжевых ленточках звенел Георгиевскими крестами.

Смотрит Якулов на нас, загадочно прищуря одну маслину. Другая щедро полита провансальским маслом.

– А хотите, с Изадорой Дункан познакомлю?

Есенин даже привскочил со скамьи:

– Где она... где?..

– Здесь... гхе-гхе... замечательная женщина...

Есенин ухватил Якулова за рукав:

– Веди!

И понеслись от Зеркального зала к Зимнему, от Зимнего в Летний, от Летнего к оперетте, от оперетты обратно в парк шаркать глазами по скамьям. Изадоры Дункан не было.

– Черт дери... гхе-гхе... нет... ушла... черт дери.

– Здесь, Жорж, здесь.

И снова от Зеркального к Зимнему, от Зимнего к оперетте, в Летний, в парк.

– Жорж, милый, здесь, здесь.

Я говорю:

– Ты бы, Сережа, ноздрей след понюхал.

– И понюхаю. А ты пиши в Киев цидульки два раза в день и помалкивай в тряпочку.

Пришлось помалкивать.

Изадоры Дункан не было. Есенин мрачнел и досадовал.

Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.

Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.

46

«Почем-Соль» влюбился. Бреет голову, меняет пестрые туркестанские тюбетейки, начищает сапоги американским кремом и пудрит нос. Из бухарского белого шелка сшил полдюжины рубашек.

Собственно, я виновник этого несчастья. Ведь знал, что «Почем-Соль» любит хорошие вещи.

А та, с которой я его познакомил, именно хорошая Вещь. Ею приятно обставить квартиру.

У нашего друга нет квартиры, но зато есть вагон. Из-за вагона он обзавелся Левой в «инженерской» фуражке.

Очень страшно, если он возьмет Вещь в жены, чтобы украсить свое купе. Я ему от сердца говорю:

– Уж лучше я тебе подарю ковер!

А он сердится.

По вечерам мы с Есениным беспокоимся за его судьбу. Есенин, как в прошлые дни, говорит:

– Пропадает парень... пла-а-а-кать хочется!

47

Вернулась Никритина.

Холодные осенние вечера. Луна похожа на желток крутого яйца.

С одиннадцати часов вечера я сижу на скамеечке Тверского бульвара, против Камерного, и жду. В театр мне войти нельзя. Я – друг Мейерхольда и враг Таирова. Как это давно было. Теперь, при встрече с Мейерхольдом, еле касаюсь шляпы, а с Таировым даже немного больше, чем добрые знакомые.

Иногда репетиции затягивались до часу, до двух, до трех ночи.

Когда возвращаюсь домой, Есенин и «Почем-Соль» надо мной издеваются. Обещают подарить теплый цилиндр с наушниками. Меня прозвали Брамбиллом (в Камерном был спектакль «Принцесса Брамбилла»). А Никритину – обезьянкой, мартышкой, мартыном, мартышоном.

Есенин придумывает частушки.

Я считаю Никритину замечательной, а он поет:

Ах, мартышечка-душа
Собой не больно хороша.

А когда она бывает у нас, туже частушку Есенин поет на другой манер:

Ах, мартышечка-душа
Собою очень хороша.

По ночам через стену слышу беспокойный шепот. Это «Почем-Соль» с Есениным тревожатся о моей судьбе.

48

Якулов устроил пирушку у себя в студни.

В первом часу ночи приехала Дункан.

Красный, мягкими складками льющийся хитон; красные, с отблеском меди, волосы; большое тело, ступающее легко и мягко.

Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине.

Маленький, нежный рот ему улыбнулся.

Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.

Она окунула руку в его кудри и сказала:

– Solotaya golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.

Потом поцеловала его в губы.

И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

– Anguel!

Поцеловала еще раз и сказала:

– Tshort!

В четвертом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали.

«Почем-Соль» подсел ко мне и стал с последним отчаянием набрасывать план спасения Вятки.

– Увезу его...

– Не поедет...

– В Персию...

– Разве что в Персию...

От Якулова ушли на заре. По пустынной улице шагали с грустными сердцами.

49

На другой день мы отправились к Дункан. Пречистенка. Балашовский особняк. Тяжелые мраморные лестницы, комнаты в «стилях»: ампировские – похожи на залы московских ресторанов, излюбленных купечеством: мавританские – на сандуновские бани. В зимнем саду – дохлые кактусы и унылые пальмы. Кактусы и пальмы так же несчастны и грустны как звери в железных клетках Зоологического парка.

Мебель грузная, в золоте. Парча, штоф, бархат. В комнате Изадоры Дункан на креслах, диванах, столах – французские легкие ткани, венецианские платки, русский пестрый ситец.

Из сундуков вытащено все, чем можно прикрыть бесстыдство, дурной вкус, дурную роскошь.

Изадора нежно улыбнулась и, собирая морщинки на носу, говорит:

– C'est Balachoff... pioho chambre... ploho... Isadora fichu chale... achetra mnogo, mnogo ruska chale...

На полу волосяные тюфячки, подушки, матрацы, покрытые коврами и мехом.

Люстры затянуты красным шелком. Изадора не любит белого электричества. Ей больше пятидесяти лет.

На столике, перед кроватью, большой портрет Гордона Крега.

Есенин берет его и пристально рассматривает. Потом будто выпивает свои сухие, слегка потрескавшие губы.

– Твой муж?

– Qu'est-ce que c'est mouje?

– Man... epoux...

– Oui, mari... bil... Kreg pioho mouje, pioho man... Kreg pichet, pichet, travaillait, travaillait... pioho mou-je... Kreg genie.

Есенин тычет себя пальцем в грудь.

– И я гений!.. Есенин гений... гений!.. я... Есенин – гений, а Крег – дрянь!

И, скроив презрительную гримасу, он сует портрет Крега под кипу нот и старых журналов.

– Адьу!

Изадора в восторге:

– Adieu.

И делает мягкий прощальный жест.

– А теперь, Изадора (и Есенин пригибает бровь), танцуй... понимаешь, Изадора?.. Нам танцуй!

Он чувствует себя Иродом, требующим танец у Саломеи.

– Tansoui? Bon!

Дункан надевает есенинские кепи и пиджак. Музыка чувственная, незнакомая, беспокоящая.

Апаш – Изадора Дункан. Женщина – шарф.

Страшный и прекрасный танец.

Узкое и розовое тело шарфа извивается в ее руках. Она ломает ему хребет, беспокойными пальцами сдавливает горло. Беспощадно и трагически свисает круглая шелковая голова ткани.

Дункан кончила танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.

Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней.

И все-таки он был только – партнером, похожим на тот кусок розовой материи – безвольный и трагический.

Она танцевала.

Она вела танец.

50

А нам приятель Саша Сахаров, завзятый частушечник, уже горланил:

Толя ходит неумыт,
А Сережа чистенький –
Потому Сережа спит
С Дуней на Пречистенке.

Нехорошая кутерьма захлестнула дни. Розовый полусумрак. С мягких больших плеч Изадоры стекают легкие складки красноватого шелка.

Есенин сует «Почем-Соли» четвертаковый детский музыкальный ящичек.

– Крути, Мишук, а я буду кренделя выделывать.

«Почем-Соль» крутит проволочную ручку. Ящик скрипит «Барыню».

Ба-а-а-а-рыня, барыня-а!
Сударыня барыня-а!

Скинув лаковые башмаки, босыми ногами на пушистых французских коврах Есенин «выделывает кренделя».

Дункан смотрит на него влюбленными синими фаянсовыми блюдцами.

– C'est la Russie... a c'est la Russie...

Ходуном ходят на столе стаканы, расплескивая теплое шампанское.

Вертуном крутятся есенинские желтые пятки.

– Mitschateino!

Есенин останавливается. На побледневшем лбу крупные, холодные капли. Глаза тоже как холодные, крупные, почти бесцветные злые капли.

– Изадора, сигарет!

Дункан подает Есенину папиросу.

– Шампань!

И она идет за шампанским.

Есенин выпивает залпом стакан и тут же наливает до краев второй.

Дункан завязывает вокруг его шеи свои нежные слишком мягкие руки.

На синие фаянсовые блюдца будто проливается чай, разбавленный молоком.

Она шепчет:

– Essenin krepkii!.. oschegne krepkii.

Таких ночей стало семь в неделю и тридцать в месяц.

Как-то я попросил у Изадоры Дункан воды.

– Qu'est-ce que c'est «vodi»?

– L'eau.

– L'eau?

Изадора забыла жажду. Шампань, коньяк, водка.

В начале зимы «Почем-Соль» должен был уехать на Кавказ. Стали обдумывать, как вытащить из Москвы Есенина. Соблазняли и соблазнили Персией. На горе Есенин опоздал к поезду.

«Почем-Соль» пожертвовал Левой в инженерской фуражке.

После третьего звонка беднягу высадили из вагона с тем, чтобы, захватив Есенина, догонял вместе с ним вагон в Ростове.

Выбрались они дней через семь.

Из Ростова я получил открытку:

«Милый Толя. Черт бы тебя побрал за то, что ты меня вляпал во всю эту историю.

Во-первых, я в Ростове сижу у Нины и ругаюсь на чем свет стоит. Вагон ваш, конечно, улетел. Лева достал купе, но в таких купе

ездить – все равно что у турок на колу висеть, да притом я совершенно разуверился во всех ваших возможностях. Это все за счет твоей молодости и его глупости. В четверг еду в Тифлис и буду рад, если встречусь с Мишей, тогда конец всем этим мукам.

Ростов – дрянь невероятная, грязь, слякоть и этот "Сегежа", который торгуется со всеми из-за двух копеек. С ним всюду со стыда сгоришь. Привет Изадоре, Ирме и Илье Ильичу. Я думаю, что у них воздух проветрился теперь и они, вероятно, уже забыли нас. Ну, да с глаз долой и из сердца вон. Плакать, конечно, не будем.

И дурак же ты, рыжий!

Да и я не умен, что послушался.

Проклятая Персия.

Сергей».

А на другой день после получения этого письма заявился обратно в Москву и Есенин самолично.

51

В маленький белый вагон туркестанских дорог вошла Вещь.

У Вещи нос искусной формы, мягкие золотистые волосы, хорошо нарисованы яркой масляной краской губы и прозрачной голубой акварелью глаза – недружелюбные, как нежилая, нетопленая комната.

Одновременно с большой Вещью в вагончике поселилось множество маленьких вещей: голубенькие скатерочки, плюшевые коврики, ламбрекенчики, серебряные ложки, вазочки, пепельницы, флакончики.

Когда «Почем-Соль» начинал шумно вздыхать, у большой Вещи на носу собирались сердитые складочки.

– Пожалуйста, осторожней! Ты разобьешь мое баккара.

В таких случаях я не мог удержаться, чтобы не съязвить:

– А пузыречки вовсе не баккара, а Брокара.

Вещь собирала губы в мундштучок.

– Конечно, Анатолий Борисович, если вы никогда в жизни не видели хорошего стекла и фарфора, вы можете так говорить. Вот у вас с Есениным на кроватях даже простыни бумажные, а у нас в доме кухарка, Анатолий Борисович, на таких спать постыдилась бы...

И Вещь, продев в иголочное ушко красную нитку, сосредоточенно начинала вышивать на хрустящем голландском полотне витиеватенькую монограмму, переплетая в ней начальные буквы имени «Почем-Соли» и своего.

В белом вагончике с каждым днем все меньше становилось нашего воздуха.

Вещи выдыхали свой – упрямый, въедливый и пахучий, как земляничное мыло.

У «Почем-Соли» стали округляться щеки, а мягонький набалдашничек на носу розоветь и чиновно салиться.

52

Есенин почти перебрался на Пречистенку.

Изадора Дункан подарила ему золотые часы. Ей казалось, что с часами он перестанет постоянно куда-то торопиться; не будет бежать от ампировских кресел, боясь опоздать на какие-то загадочные встречи и неведомые дела.

У Сергея Тимофеевича Коненкова все человечество разделялось на людей с часами и людей без часов.

Определяя кого-нибудь, он обычно буркал:

– Этот... с часами.

И мы уже знали, что если речь шла о художнике, то рассуждать дальше о его талантах было бы незадачливо.

И вот, по странной игре судьбы, у самого что ни на есть племенного «человека без часов» появились в кармане золотые, с двумя крышками и чуть ли не от Буре.

Мало того – он при всяком новом человеке стремился непременно раза два вытянуть их из кармана и, щелкнув тяжелой золотой крышкой, полюбопытствовать на время.

В остальном часы не сыграли предназначенной им роли.

Есенин так же продолжал бежать от мягких балашовских кресел на неведомые дела и загадочные, несуществующие встречи.

Иногда он прибегал на Богословский с маленьким сверточком.

В такие дни лицо его было решительно и серьезно.

Звучали каменные слова:

– Окончательно... так ей и сказал: «Изадора, адьо!»

В маленьком сверточке Есенин приносил две-три рубашки, пару кальсон и носки.

На Богословский возвращалось его имущество.

Мы улыбались.

В книжной лавке я сообщал Кожебаткину:

– Сегодня Есенин опять сказал Изадоре:

Адьо! Адьо!
Давай мое белье.

Часа через два после появления Есенина с Пречистенки прибывал швейцар с письмом. Есенин писал лаконический и непреклонный ответ. Еще через час нажимал пуговку нашего звонка секретарь Дункан – Илья Ильич Шнейдер.

Наконец, к вечеру, являлась сама Изадора.

У нее по-детски припухали губы, и на голубых фаянсовых блюдцах сверкали соленые капельки.

Она опускалась на пол около стула, на котором сидел Есенин, обнимала его ногу и рассыпала по его коленям красную медь своих волос:

– Anguel.

Есенин грубо отталкивал ее сапогом.

– Пойди ты к... – и хлестал заборной бранью.

Тогда Изадора еще нежнее и еще нежнее произносила:

– Serguei Alexandrovich, lublu tibia.

Кончалось всегда одним и тем же.

Эмилия снова собирала сверточек с движимым имуществом.

53

Летом я встречался с Никритиной раз в сутки. После ее возвращения из Киева – два раза. Потом – три. И все-таки казалось, что мало.

Тогда она «на совсем» осталась в маленькой богословской комнатке.

Случилось все очень просто: как-то я удержал ее вечером и упросил не уходить на следующее утро.

Я сказал:

– Все равно вам придется через час торопиться ко мне на свидание... Нет никакого расчета.

Никритина согласилась.

А через два дня она перенесла на Богословский крохотный тюлевый лифчичек с розовенькими ленточками. Больше вещей не было.

54

Весна. В раскрытое окно лезет солнце и какая-то незатейливая, подглуповатенькая радость.

Я затягиваю ремень на непомерно разбухшем чемодане. Сколько ни пыхчу, как ни упираюсь коленом в его желтый фибровый живот – толку мало. Усаживаю Никритину на чемодан.

– Постарайся набраться весу.

Она, легонькая, как перышко, наедается воздухом и смехом.

– Рразз!

Раздувшиеся щеки лопаются, ремень вырывается у меня из рук, и разъяренная крышка подбрасывает «вес» кверху.

Входят Есенин и Дункан.

Есенин в шелковом белом кашне, в светлых перчатках и с букетиком весенних цветов.

Он держит под руку Изадору важно и церемонно.

Изадора в клетчатом английском костюме, в маленькой шляпочке, улыбающаяся и помолодевшая.

Есенин передает букетик Никритиной.

Наш поезд на Кавказ отходит через час. Есенинский аэроплан отлетает в Кенигсберг через три дня.

– А я тебе, дура-ягодка, стихотворение написал.

– И я тебе, Вяточка.

Есенин читает, вкладывая в теплые и грустные слова теплый и грустный голос:

ПРОЩАНИЕ С МАРИЕНГОФОМ

Есть в дружбе счастье оголтелое
И судорога буйных чувств –
Огонь растапливает тело,
Как стеариновую свечу.

Возлюбленный мой, дай мне руки –
Я по-иному не привык –
Хочу омыть их в час разлуки
Я желтой пеной головы.

Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз –
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.

Прощай, прощай! В пожарах лунных
Дождусь ли радостного дня?
Среди прославленных и юных
Ты был всех лучше для меня.

В такой-то срок, в таком-то годе
Мы встретимся, быть может, вновь...
Мне страшно – ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

Другой в тебе меня заглушит.
Не потому ли – в лад речам
Мои рыдающие уши,
Как весла, плещут по плечам?

Прощай, прощай! В пожарах лунных
Не зреть мне радостного дня,
Но все ж средь трепетных и юных
Ты был всех лучше для меня.

Мое «Прощание с Есениным» заканчивалось следующими строками:

А вдруг –
При возвращении
В руке рука захолодеет
И оборвется встречный поцелуй.

55

А вот что писал Есенин из далеких краев:

«Остенде. Июль, 9, 1922.

Милый мой Толик. Я думал, что ты где-нибудь обретаешься в краях злополучных лихорадок и дынь нашею чудеснейшего путешествия 1920 года, и вдруг из письма Ильи Ильича узнал, что ты в Москве. Милой мой, самый близкий, родной и хороший. Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы, обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая северянинщина жизни.

Сейчас сижу в Остенде. Паршивейшее Бель-Голландское море и свиные тупые морды европейцев. От изобилия вин в сих краях я бросил пить и тяну только сельтер.

Там, из Москвы, нам казалось, что Европа – это самый обширнейший район распространения наших идей и поэзии, а отсюда я вижу: боже мой, до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может.

Со стороны внешних впечатлений после нашей разлуки здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах твоему взору это понравилось бы, а потом, думаю, и ты стал бы хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди – а могильные черви, дома их – гроба, а материк – склеп. Кто здесь жил – тот давно умер, и помним его только мы. Ибо черви помнить не могут.

Из всего, что я здесь намерен сделать, – это издать переводы двух книжек по 32 страницы двух несчастных авторов, о которых здесь знают весьма немного, и то в литературных кругах. Издам на английском и французском.

В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков как чекист – или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Том свой продал Гржебину. От твоих книг шарахаются. „Хорошую книгу стихов" удалось продать только как сборник новых стихов твоих и моих. Ну, да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции. Живущий в склепе пахнет мертвечиной. Если ты хочешь сюда пробраться, то потормоши Илью Ильича, я ему пишу об этом особо. Только после всего, что я здесь видел, мне не очень хочется, чтобы ты покинул Россию. Наше литературное поле другим сторожам доверять нельзя. Во всяком случае, конечно, езжай, если хочется, но скажу откровенно: если я не удеру отсюда через месяц, то это будет большое чудо. Тогда, значит, во мне есть дьявольская выдержка характера, которую отрицает во мне Коган.

Вспоминаю сейчас о Туркестане. Как все это было прекрасно, Боже мой! Я люблю себя сейчас даже пьяного со всеми своими скандалами:

В Самарканд не поеду-у я
Т-там живет-да любовь моя.

Толя милый, приветы. Приветы.

Твой Сергун».

«Дура моя ягодка.

Дюжину писем я изволил отправить вашей сволочности, и ваша сволочность – ни гу-гу.

Итак, начинаю.

Знаете ли вы, милостивый государь, Европу? Нет. Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце... О, нет, вы не знаете Европы.

Во-первых, боже мой, такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется. Сердце бьется, бьется самой отчаяннейшей ненавистью, так и чешется, но к горю моему один ненавистный мне в этом случае, но прекрасный поэт Эрдман сказал, что почесать его нечем. Почему нечем? Я готов просунуть для этой цели в горло сапожную щетку, но рот мой мал и горло мое узко. Да, прав он, этот проклятый Эрдман, передай ему за это тысячу поцелуев.

Да, мой друг рыжий, да. Я писал Сашке, писал Златому – и вы „ни тебе, ни матери“.

Теперь я понял, понял все я –
Ах, уж не мальчик я давно, –
Среди исканий, без покоя
Любить поэту не дано.

Это сказал В. Ш., по-английски он зовется В. Шекспир. О, я узнал теперь, что вы за канальи, и в следующий раз вам, как в месть, напишу обязательно по-английски – чтобы вы ничего не поняли.

Ну так вот – единственно из-за того, что вы мне противны, за то, что вы не помните меня, я с особым злорадством перевел ваши скандальные поэмы, на англ. и франц. яз. и выпускаю их в Парнике и Лондоне.

В сентябре все это вам пришлю, как только выйдут книги. Адрес мой (для того, чтобы ты не писал).

Сергей Есенин».

И Сахарову из Дюссельдорфа:

«Родные мои. Хорошие...

Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут, и льют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать, самое высшее – мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно.

Если рынок книжной Европы, а критик – Львов-Рогачевский, то глупо же писать стихи им в угоду и по их вкусу.

Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички сидят, где им позволено. Ну куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к черту и навострить лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину.

Конечно, кой-где нас знают, кой-где есть стихи, переведенные мои и Толькины, но на кой все это, когда их никто не читает?

Сейчас у меня на столе английский журнал со стихами Анатолия, который мне даже и посылать ему не хочется. Очень хорошее издание, а на обложке пометка: в колич. 500 экземпляров. Это здесь самый большой тираж.

Развейтесь, кони! Неси, мой ямщик! Матушка, пожалей своего бедного сына! А знаете? У Алжирского Бея под самым носом шишка! Передай все это Клычкову и Ване Старцеву, когда они будут матюгаться, душе моей легче станет.

Твой Сергун».

Гоголевская приписка:

«Ни числа ни месяца...
Если б был... большой...
То лучше б... повеситься».

56

Мой друг, бывший артист Камерного театра, а теперь театра Макса Рейнхардта, Владимир Соколов ставил в Берлине на немецком языке с крупными немецкими актерами «Идиота» по Достоевскому.

Это было осенью 1925 года.

Я сидел в Пшор-Броу на Курфюрстендаме за полулитровой кружкой мюнхенского пива. Ждал Соколова. Со мной немецкий социал-демократ. Губы у него серые и тонкие, как веревочка. Говорит:

– Русские в Берлине любят рассказывать про нас, немцев, анекдот. Вы слыхали, наверное. В каком-то городе революционное восстание. Берут вокзал. Мечутся по залам. Подбегает русский; кричит: «Почему вы не выходите на линию? не занимаете платформу?» Немцы отвечают: «Касса закрыта... не выдают перронных билетов».

Я рассмеялся и подумал: небось о нас такой анекдотец не сложится.

Мой сосед полагает, что «перронные билеты» – залог того, что немцы раньше других и самым коротким и спокойным путем придут к социализму.

Вошел Соколов. Хмурый, сердитый.

Бурчит:

– Знаешь, кажется, брошу все... Не могу... Все это как назло... читаю, видишь ли, им первый акт «Идиота». Помнишь, где Рогожин рассказывает князю Мышкину, как валялся он пьяный ночью на улице в Пскове и – собаки

его объели... Только прочел – смех... Спрашиваю: «В чем дело?..» Актеры как-то неловко между собой переглядываются... Потом один и говорит: «Здесь, Herr Sokolov, плохо переведено. Неправдоподобно... Достоевский так написать не мог...» – «Да что написать-то не мог?..» – «А вот насчет того, что собаки обкусали... Это совсем невозможно... Публика смеяться будет...» – «Чего же смеяться-то?» И сам злиться начинаю. «Да как же, – говорит, – собаки обкусать могут, если они в намордниках?» И ничего, понимаешь ты, им возражать не стал – только руками развел. Так и пришлось это место вычеркнуть...

Когда я думаю о Есенине на Западе, мне всегда приходят в голову и первый анекдотец, и Соколовский случай.

Есенин почувствовал себя, свой внутренний мир и свои стихи неправдоподобными и обреченными на вымарку, как та собака без намордника, которая укусила Рогожина.

Уже в кубанских степях Есенина слегка напугала железная лошадка. Какой же она оказалась несчастной и жалкой в сравнении с тем железным конем, которого довелось ему увидеть скачущим по другой половине земного шара.

В 1924 году я был в Париже. Как-то целый день пробродил с Кусиковым по Версальскому парку и Трианону. Устали чудесной усталостью.

Ужинали в полумиле от Версаля в маленьком ресторанчике. За разговором я сказал Кусикову:

– Знаешь, Сандро, однажды очень я рассердился, прочитав у какого-то француза в романе, что «два парижских вивера и две кокотки за одну ночь расходуют больше остроумия и грации, чем англичане, французы, русские, американцы за целый год». А теперь...

И, не договорив, выпил большой стакан холодного белого вина за Версаль, за французов, за романский гений. Кусиков улыбнулся:

– А я тебе, Анатолий, кажется, еще не рассказывал, как мы сюда в прошлом году с Есениным съездили... неделю я его уламывал... уломал... двинулись... добрались до этого самого ресторанчика... тут Есенин заявил, что проголодался... сели завтракать, Есенин стал пить, злиться, злиться и пить... до ночи... а ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль; наутро, трезвым, он радовался своей хитрости и увертке... так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть.

Я припомнил фразу из давнишнего есенинского письма о гибельности для него путешествий. «Я не знаю, – писал он, – что было бы со мной, если б „случайно“ мне пришлось объездить весь земной шар. Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона».

В одном из лесковских романов приживалка князей Протозановых, Ольга Федотовна (вскоре после похода Александра на Париж, в котором участвовал и ее князь), попадает за границу. Вернувшийся в Россию посольский дьячок про Ольгу Федотовну рассказывал:

– У нее это с Рейна началось... Как увидит развалины, сейчас вся возрадуется и пристает ко всем: «Смотрите, батюшка, смотрите. Это все наш князь развалил», и сама от умиления плачет.

И, продолжая свою теорию разрушения всех европейских зданий, завела в Париже войну с французской прислугой, доказывая всем, что недостроенный в то время Собор Парижской Богоматери отнюдь не недостроен, но что и его князь «развалил».

А когда княгиня приняла сторону обиженных французов, Ольга Федотовна заявила, что та «рода своего не уважает».

Пришло время признаться, что российский патриотизм, которым болели мы в годы военного коммунизма, имел большое сходство с идейным богатством Ольги Федотовны.

Не чуждо нам было и гениальное мракобесие Василия Васильевича Розанова, уверяющего, что счастливую и великую родину любить не великая вещь и что любить мы ее должны, когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно, когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе... Но и это еще не последнее: когда она наконец умрет и, «обглоданная евреями», будет являть одни кости – тот будет «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и всеми плюнутого...

Есенин был достаточно умен, чтобы, попав в Европу, осознать всю старомодность, ветхую дырявость, проношенность таких убеждений, – и недостаточно тверд, решителен, чтобы отказаться от них, чтобы найти новый внутренний мир.

57

На лето уехали с Никритиной к Черному морю пожариться на солнышке. В августе деньги кончились. А тут еще как нарочно, как назло вострoглазый, коричневый, будто вылепленный из глины, голопятый и голопузый купец кричит раз по пять в день:

У меня у Яшки
У маленькой корзине
Алейнц у Берлине,
У магазине.

К счастью: не у каждого купца столько соблазнов.

Две копейки фунт вишня.

И пятикопеечные дыни, о которых чернокосая синьора возвещала следующей серенадой:

Дини! Дики?
Си тициx ейших
Просто дим идет! –

делали картину нашей жизни не столь мрачной.

Мы пополняли пустоту желудков щедротами юга и писали в Москву друзьям, чтобы те потолкались в какой-нибудь мягкосердечной редакции за авансиком для меня, и родичам – чтобы поскребли у себя в карманах на предмет краткосрочного займа.

Хотя, по совести говоря, плоховато я верил и в редакторское широкодушие, и в родственные карманы.

Впрочем, и родичей-то у меня (кроме сестры) почти что нет на белом свете. Самые кровные узы, если, скажем, бабушки наши на одном солнышке чулочки сушили. Так, кажется, говаривали старые хорошие писатели.

Вдруг: телеграфный перевод на сто рублей. И сразу вся кислятина из души выпарилась. Решили даже еще недельку поболакаться в море.

За обедом ломали головы: от кого бы такая благодать?

А вечером почтальон догадку вручил нам под расписку.

Телеграмма: «Приехал Приезжай Есенин».

Ошалев, заскакал я и захлопал в ладоши.

Из желтого кожаного несессерчика бросил в меня стыдящий взгляд шестинедельный Кирилл: «Такой, мол, дядя здоровый и козлом прыгаешь!»

Усовестясь, я помахал пальцем перед его розовенькой, с двумя дырочками горошинкой:

– Ну, брат Кирилл, в Москву едем... Из невозможных америк друг мой единственный вернулся... Понимаешь?

Розовенькая горошина сморщилась и чихнула.

– Значит, правда!

Наутро Кирилл сменил квартиру – кожаный несессерчик на деревянное корытце – и в скором поезде поехал в Москву.

58

– Вот и я.

– Вяточка!..

Ах, какой европеец! Какой чудесный, какой замечательный европеец! Смотрите-ка: из кармашка мягкого серого пиджака торчит даже блестящий хвостик вечного пера.

И, кажется, еще легче стала походка в важных белых туфлях, и еще золотистей волосы из-под полей такой красивой и добротной (цвета кофе на молоке) шляпы.

Только вот глаза... не пойму... странно – не его.

– Мразь!

– А?

– Европа – мразь.

– Мразь?

– А в Чикаго до надземной дороги встань на цыпочки и пальцем достанешь!.. Ерунда!..

И презрительно приподнялся на белых носках своих важных туфель.

– ...в Венеции архитектура ничего себе... только воня-ет! – И сморщил нос пресмешным образом. – А в Нью-Йорке мне больше всего понравилась обезьяна у одного банкира... Стерва, в шелковой пижаме ходит, сигары курит и к горничной пристает... а в Париже... сижу это в кабаке... подходит гарсон... говорит: «Вы вот, Есенин, здесь кушать изволите, а мы, гвардейские офицеры, с салфеткой под мышкой...» – «Вы, спрашиваю, лакеями?..» – «Да! лакеями!..» – «Тогда извольте, говорю, подать мне шампань и не разговаривать!..» Вот!.. ну, твои стихи перевел... свою книгу на французском выпустил... только зря все это... никому там поэзия не нужна... А с Изадорой – адьо!..

– «Давай мне мое белье»?

– Нет, адьо безвозвратно... безвозвратно... я русский... а она... но... могу... знаешь, когда границу переехал – плакал... землю целовал... как рязанская баба... стихи прочесть?..

Прочел всю «Москву кабацкую» и «Черного человека».

Я сказал:

– «Москва кабацкая» – прекрасно. Такой лирической силы и такого трагизма у тебя еще в стихах не было... умудрился форму цыганского романса возвысить до большого, очень большого искусства. А «Черный человек» плохо... совсем плохо... никуда не годится.

– А Горький плакал… я ему «Черного человека» читал... слезами плакал...

– Не знаю...

Есенин не вытаскивал для печати и не читал «Черного человека» вплоть до последних дней. Насколько мне помнится, поправки внес не очень значительные. Вечером были в каком-то богемном кабаке на Никитской – не то «Бродячая собака», не то «Странствующий энтузиаст».

Есенин опьянел после первого стакана вина. Тяжело и мрачно скандалил: кого-то ударил, матерщинил, бил посуду, ронял столы, рвал и расшвыривал червонцы. Смотрел на меня мутными невидящими глазами и не узнавал. Одно слово доходило до его сознания: Кириллка.

Никритина говорила:

– Сережа, Кириллка вас испугается... не надо пить... он маленький... к нему нельзя прийти таким...

И Есенин на минутку тишал.

То же магическое слово увело его из кабака.

На извозчике на полпути к дому Есенин уронил мне на плечо голову, как не свою, как ненужную, как холодный костяной шар.

А в комнату на Богословском, при помощи чужого, незнакомого человека, я внес тяжелое, ломкое, непослушное

тело. Из-под упавших мертвенно-землистых век сверкали закатившиеся белки. На губах слюна. Будто только что жадно и неряшливо ел пирожное и перепачкал рот сладким, липким кремом. А щеки и лоб совершенно белые. Как лист ватмана.

Вот день – первой встречи. Утро и ночь. Я вспомнил поэму о «Черном человеке». Стало страшно.

Может быть, не попусту плакал над ней Горький.

59

На другой день Есенин перевез на Богословский свои американские шкафы-чемоданы. Крепкие, желтые, стянутые обручами; с полочками, ящичками и вешалочками внутри. Негры при разгрузках и погрузках с ними не очень церемонятся – швыряют на цемент и асфальт чуть ли не со второго этажа.

В чемоданах – дюжина пиджаков, шелковое белье, смокинг, цилиндр, шляпы, фрачная накидка.

У Есенина страх – кажется ему, что его всякий или обкрадывает, или хочет обокрасть.

Несколько раз на дню проверяет чемоданные запоры. Когда уходит, таинственно шепчет мне на ухо:

– Стереги, Толя!.. в комнату – ни-ни! никого!.. знаю я их – с гвоздем в кармане ходят...

На поэтах, приятелях и знакомых мерещатся ему свои носки, галстуки. При встрече обнюхивает – не его ли духами пахнет.

Это не дурь и не скупость.

Я помню первую ночь, пену на губах похожую на сладкий крем, чужие глаза на близком, милом лице и то – как рвал он и расшвыривал червонцы...

Раньше бывало по-иначему.

Как-то Мейерхольд с Райх были у нас на блинах. Пили с блинами водку. Есенин больше других. Под конец стал шу-

меть и швырять со звоном на пол посуду. Я тихонько шепнул ему на ухо.

– Брось, Сережа, посуды у нас кот наплакал, а ты еще кокаешь.

Он тайком от Мейерхольда хитро подмигнул мне, успокоительно повел головой и пальцем указал на валяющуюся на полу неразбитую тарелку.

Дело обстояло просто. На столе среди фарфорового сервизишки была одна эмалированная тарелка. Ее-то он и швырял об пол, производя звон и треск; затем ловко незаметно поднимал и швырял заново.

Или еще:

Наш беленький туркестанский вагой стоял в тупике ростовского вокзала. Есенин во хмелю вернулся из города. Стал буянить. Проводник высунулся и заявил:

– Товарищ Молабух приказал вас, Сергей Александрович, в энтом виде в вагон не пущать!

– Меня?.. не пускать?..

– Не приказано-с, Сергей Александрович!

– Пусти лучше!

– Не приказано.

– Скажи своему «енералу» в подбрючниках – ежели не пустит – разнесу его хижину!

– Не приказано

Тогда Есенин, крякая, стал высаживать в вагоне стекла.

Дребезжа, падали стекла на шпалы. «Почем-Соль» стоял в купе, бледный, в нижней рубахе и подштанниках, с прыгающей свечой в руке.

А Есенин не унимался. Прошло после разгрома вагона три дня. «Почем-Соль» ни под каким видом не желал мириться с Есениным. На все уговоры отвечал:

– Что ты мне говоришь: «пьян! пьян!» не в себе? Нет, брат, очень в себе... Он всегда в себе... небось когда по стеклу

дубасил, так кулак-то свой в рукав прятал, чтоб не порезаться, боже упаси... а ты: «пьян, пьян! не в себе!..»... Все стекла выставил – на пальце ни одной царрапины... хитро, брат... а ты... «пьян».

В этом был Есенин.

Если бы в день первой встречи в «Бродячей собаке» он показывал червонцы и рвал белую бумагу, я бы знал, что не так страшны и упавшие веки, и похожая на крем пена на губах, и безучастное ломкое тело.

60

Предугаданная грусть наших «Прощание» стала явственна и правдонастояща.

Сначала разбрелись литературные пути.

Есенин еще печатался в имажинистской «Гостинице для путешествующих в прекрасное», но поглядывал уже в сторону «мужиковствующих». Подолгу сидел он с Орешиным, Клычковым, Ширяевцем в подвальной комнатке «Стойла Пегаса».

Ссорились, кричали, пили.

Есенин желал вожаковать. В затеваемом журнале «Россияне» требовал:

– Диктатуры!

Орешин злостно и мрачно показывал ему шиш. Клычков скалил глаза и ненавидел многопудовым завистливым чувством.

Есенин уехал в Петербург и привез оттуда Николая Клюева. Клюев раскрывал пастырские объятия перед меньшими своими братьями по слову, троекратно лобызал в губы, называл Есенина Сереженькой и даже меня ласково гладил по колену, приговаривая:

– Олень! олень!

Вздыхал об олонецкой избе и до закрытия, до четвертого часа ночи, каждодневно сидел в «Стойле Пегаса», среди виз-

жащих фокстроты скрипок и красногубой, пустосердечной и площадноречивой толпы, отрыгивающей винным духом, пудрой «Леда» и мутными тверско-бульварными страстишками.

Мне нравился Клюев. И то, что он пришел путями господними в «Стойло Пегаса», и то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом и вобельным хвостиком, и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, одел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти, с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере.

Есенин к Клюеву был ласков и льстив. Рассказывал о «Россиянах», обмозговывал, как из «старшого брата» вытесать подпорочку для своей «диктатуры», как «Миколаем» смирить Клычкова с Орешиным.

А Клюев вздыхал:

– Вот, Сереженька, в лапоточки скоро обуюсь... последние щиблетишки, Сереженька, развалились!

Есенин заказал для Клюева шевровые сапоги.

А вечером в «Стойло» допытывал:

– Ну, как же насчет «Россиян», Николай?

– А я кумекаю – ты, Сереженька, голова... тебе красный угол.

– Ты скажи им – Сереге-то Клычкову и Петру, – что, мол, Есенина диктатура.

– Скажу, Сереженька, скажу...

Сапоги делались целую неделю.

Клюев корил Есенина:

– Чего Изадору-то бросил... хорошая баба... богатая... вот бы мне ее... плюшевую бы шляпу купил с ямкою и сюртук, Сереженька, из поповского сукна себе справил...

– Справим, Николай, справим! Только бы вот «Россияне»...

А когда шевровые сапоги были готовы, Клюев увязал их в котомочку и в ту же ночь, втихомолку, не простившись ни с кем, уехал из Москвы.

61

Вслед за литературными путями разбежалась у нас с Есениным дорога дружбы и сердца.

Я только что приехал из Парижа. Сидел в кафе. Слушал унылое вытье толстой контрабасной струны. Никого народу. У барышни в белом фартучке – флюс. А вторая барышня в белом фартучке даже не потрудилась намазать губы. Черт знает что такое!

На улице непогодь, мокрядь, желтый, жидкий блеск фонарей.

Я подумал, что хорошо бы эту осеннюю тоску расхлестать веселыми монпарнасскими песенками. Неожиданно вошел Есенин. Барышня с флюсом и барышня с ненакрашенными губами испуганно трепыхнулись и повели плечиками. Глаз у Есенина мутный, рыхлый, как кусочек сахара, полежавший в чашке горячего кофе. Одет неряшливо. Шляпа пятнистая, помятая; несвежий воротничок и съехавший набок галстук. Золотистая пена волос размылилась и посерела. Стала походить на грязноватую, как после стирки, воду в корыте.

Есенин, не здороваясь, подошел к столику, за которым я сидел. Заложил руки в карманы и, не произнося ни слова, уперся в меня недобрым мутным взглядом.

Мы не виделись несколько месяцев. Когда я уезжал из России, не довелось проститься. Но и ссоры никакой не было. Только отношения похолодали.

Я продолжал мешать ложечкой в стакане и тоже молча смотрел ему в глаза.

Кто-то из маленьких петербургских поэтов вертелся около. Подошла какая-то женщина и стала тянуть Есенина за рукав.

– Иди к энтой матери... видишь, с Мариенго-о-фом встретился...

От Есенина пахнуло едким, ослизшим перегаром:

– Ну?

Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал:

– А я тебя съем!

Есенинское «съем» надлежало понимать в литературном смысле.

– Ты не серый волк, а я не Красная Шапочка. Авось не съешь.

Я выдавил из себя улыбку, поднял стакан и глотнул горячего кофе.

– Нет... съем!

И Есенин сжал ладонь в кулак.

Петербургский поэтик, щупленький, черненький, с носом, похожим на восклицательный знак, и незнакомая женщина стали испуганным шепотом упрашивать Есенина и в чем-то уговаривать меня.

Есенин выпрямился, снова заложил пальцы в карманы, повернулся ко мне спиной и неровной пошатывающейся походкой направился к выходу.

Поэтик и женщина держали его под руки. Перед дверью, словно на винте, повернул голову и снял шляпу:

– Ад-дьо-о!

И скрипнул челюстями.

– А все-таки... съем!

Поэтик распахнул дверь.

Вот наша ссора. Первая за шесть лет. Через месяц мы встретились на улице и, не поклонившись, развели глаза.

62

Весной я снова уехал с Никритиной за границу и опять вернулся в Москву в непролазь и мглу позднего октября. В один из первых дней по приезде побывали у Качаловых. В

малюпатенькой их квартирке в Камергерском пили приветливое хозяйское вино.

Василий Иванович читал стихи – Блока, Есенина. Из угла поблескивал черной короткой шерстью и большими умными глазищами качаловский доберман-пинчер.

Василий Иванович положил руку на его породистую точеную морду.

– Джим... Джим... Хорош?

– Хорош!..

– Есениным воспет!

И Качалов прочел стихотворение, посвященное Джиму. А я после спросил:

– Что Есенин?.. хорошо или худо?..

Вражда набросала в душу всякого мусора и грязи. Будто носили мы в себе помойные ведра.

Но время и ведра вывернуло, и мокрой тряпкой подтерло. Одно слово – чистуха, чистоплюха.

– Будто не больно хорошо...

И Василий Иванович рассказал теплыми словами о том, что приметил за редкие встречи, что понаслышал через молву и от людей, к Есенину близких, и сторон них.

– А где же сейчас Сережа?.. Глупо и гадко все у нас получилось... не из-за чего и ни к чему...

До позднего часа просидели в малюсенькой комнатке за приветливым хозяйским вином.

Прощаясь, я сказал:

– Вот только узнаю, в каких обретается Есенин палестинах, и пойду мириться.

И в эту же ночь на Богословском несколько часов кряду сидел Есенин, ожидая нашего возвращения. Он колдыхал Кириллкину кроватку, мурлыкал детскую песенку и с засыпающей тещей толковал о жизни, о вечности, о поэзии, дружбе и любви. Он ушел, не дождавшись. Велел передать:

– Скажите, что был... обнять, мол, и с миром...

Я не спал остаток ночи. От непрошеных слез намокла наволочка.

На другой день с утра – бегал по городу и спрашивал подходящих людей о есенинском пристанище. Подходящие люди разводили руками. А под вечер, когда глотал (чтобы только глотать) холодный суп, раздался звонок, который узнал я с мига, даром что не слышал его с полутысячу, если не более, дней.

Пришел Есенин.

63

Прошло около недели. Я суматошился в погоне за рублем. Засуматошенный вернулся домой.

Никритина открыла дверь:

– У нас Сережа...

И встревоженно добавила:

– Принес вино... пьет...

Когда в последнее время говорили: «Есенин пьет», слова звучали как стук костыля.

Я вошел в комнату.

Еще желтая муть из бутылок не перелилась в его глаза.

Мы крепко поцеловались.

– Тут Мартышон меня обижает...

Есенин хитро прихромнул губой:

– Выпить со мной не хочет... за мир наш с тобой... любовь нашу...

И налил в стаканчик непенящегося шампанского.

– Подожди, Сергун... сначала полопаем... Мартышка нас щами угостит с черной кашей...

– Ешь...

Есенин сдвинул брови.

– А я мало теперь ем... почти ничего не ем...

И залпом выпил стаканчик.

– Весной умру... Брось, брось, пугаться-то... говорю умру, значит – умру...

Опять захитрили губы:

– У меня... горловая чахотка... значит, каюк!

Я стал говорить об Италии, о том, что вместе закатимся весной к теплой Адриатике, поваляемся на горячем песке, поглотаем не эту дрянь (и убрал под стол бутылку), а чудесное, палящее, расплавленное д'аннунциевского солнце.

– Нет, умру.

«Умру» произносил твердо, решение, с завидным спокойствием. Хотелось реветь, ругаться последними словами, корябать ногтями холодное, скользкое дерево на ручках кресла.

Жидкая соль разъедала глаза.

Никритина что-то очень долго искала на полу, боясь поднять голову.

Потом Есенин читал стихи об отлетевшей юности и о гробовой дрожи, которую обещал он принять как новую ласку.

64

– К кому?

– К Есенину.

Дежурный врач выписывает мне пропуск.

Поднимаюсь по молчаливой, выстланной коврами лестнице. Большая комната. Стены окрашены мягкой, теплой краской. С потолка светится синенький глазок электрической лампочки. Есенин сидит на кровати, обхватив колени.

– Сережа, какое у тебя хорошее лицо... волосы даже снова запушились.

Очень давно я не видел у Есенина таких ясных глаз, спокойных рук, бровей и рта. Даже пообблетела серая пыль с век.

Я вспомнил последнюю встречу.

Есенин до последней капли выпил бутылку шампанского. Желтая муть перелилась к нему в глаза. У меня в комнате, на

стене, украинский ковер с большими красными и желтыми цветами. Есенин остановил на них взгляд. Зловеще ползли секунды и еще зловещее расползались есенинские зрачки, пожирая радужную оболочку. Узенькие кольца белков налились кровью. А черные дыры зрачков – страшным, голым безумием.

Есенин привстал с кресла, скомкал салфетку и, подавая ее мне, прохрипел на ухо:

– Вытри им носы!

– Сережа, это ковер... ковер... а это цветы...

Черные дыры сверкнули ненавистью:

– А!.. трусишь!..

Он схватил пустую бутылку и заскрипел челюстями:

– Размозжу... в кровь... носы... в кровь... размозжу...

Я взял салфетку и стал водить ею по ковру – вытирая красные и желтые рожи, сморкая бредовые носы.

Есенин хрипел.

У меня холодело сердце.

Многое утонет в памяти. Такое – никогда.

И вот: синенький глазок в потолке. Узкая кровать с серым одеяльцем. Теплые стены. И почти спокойные руки, брови, рот.

Есенин говорит:

– Мне очень здесь хорошо... только немного раздражает, что день и ночь горит синенькая лампочка... знаешь, заворачиваюсь по уши в одеяло... лезу головой под подушку... и еще – не позволяют закрывать дверь... все боятся, что покончу самоубийством.

По коридору прошла очень красивая девушка. Голубые, большие глаза и необычайные волосы, золотые, как мед.

– Здесь все хотят умереть... эта Офелия вешалась на своих волосах.

Потом Есенин повел в приемный зал. Показывал цепи и кандалы, в которые некогда заковывали больных; рисунки, вышивки и крашеную скульптуру из воска и хлебного мякиша.

– Смотри, картина Врубеля... он тоже был здесь...

Есенин улыбнулся:

– Только ты не думай – это не сумасшедший дом... сумасшедший дом у нас по соседству.

Он подвел к окну:

– Вон то здание!

Сквозь белую снежную листву декабрьского парка весело смотрели освещенные стекла гостеприимного помещичьего дома.

65

Платон изгнал Гомера за непристойность из своей идеальной республики.

Я не Гомер.

У нас республика Советов, а не идеальная. Можно мне сказать гадость. Совсем маленькую и не очень скабрезную. О том, как надо просить у жизни счастья.

Так вот, счастья надо просить так, как одесский беспризорный милостыню:

– Гражданка, дайте пятачок. А не то плюну вам в физиономию – у меня сифилис.

66

В тюремной приемной женщина узнала о смерти мужа. Она зарыдала. Тогда к ней подошел часовой и сказал:

– Гражданка, огорчаться ступай за ворота.

67

31 декабря 1925 года на Ваганьковском кладбище, в Москве, вырос маленький есенинский холмик.

68

Мне вспомнилось другое 31 декабря. В Политехническом музее «Встреча нового года с имажинистами». Мы с Есени-

ным – молодые, веселые. Дразним вечернюю Тверскую блестящими цилиндрами. Поскрипывают саночки. Морозной пылью серебрятся наши бобровые воротники.

Есенин заводит с извозчиком литературный разговор:

– А скажи, дяденька, кого ты знаешь из поэтов?

– Пушкина.

– Это, дяденька, мертвый. А вот кого из живых знаешь?

– Из живых нема, барин. Мы живых не знаем. Мы только чугунных.

1926 г.

Анатолия Борисовича Мариенгоф

Роман без вранья

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru